



СТИГ ДАГЕРМАН

ОСТРОВ
ОБРЕЧЕННЫХ

Р О М А Н

Стиг Дагерман
Остров обреченных

«Издательство Ивана Лимбаха»

2010

УДК 821.113.6-31 «19» = 161.1 = 03.113.6
ББК 84.3 (4Шве)-44-021 83.3

Дагерман С.

Остров обреченных / С. Дагерман — «Издательство Ивана Лимбаха», 2010

ISBN 978-5-89059-413-6

Пятеро мужчин и две женщины становятся жертвами кораблекрушения и оказываются на необитаемом острове, населенном слепыми птицами и гигантскими ящерицами. Лишенные воды, еды и надежды на спасение герои вынуждены противостоять не только приближающейся смерти, но и собственному прошлому, от которого они пытались сбежать и которое теперь преследует их в снах и галлюцинациях, почти неотличимых от реальности. Проследившая путь, который каждый из них выберет перед лицом смерти, освещая самые темные уголки их душ, Стиг Дагерман (1923–1954) исследует природу чувства вины, страха и одиночества. Роман, написанный всего за две недели летом 1946 года, стал манифестом шведского модернизма и превратил автора в культового писателя.

УДК 821.113.6-31 «19» = 161.1 = 03.113.6
ББК 84.3 (4Шве)-44-021 83.3

ISBN 978-5-89059-413-6

© Дагерман С., 2010
© Издательство Ивана Лимбаха, 2010

Содержание

Путеводная звезда внутри. Предисловие к шведскому изданию 2010 года	6
Потерпевшие кораблекрушение	8
Жажда на рассвете	8
Утро. Паралич	21
День. Голод	34
Конец ознакомительного фрагмента.	40

Стиг Дагерман

Остров обреченных

De dömdas ö © Stig Dagerman, first published by Norstedts, Sweden, in 1946. Published by agreement with Norstedts Agency

Förord © J. M. G. Le Clézio



© Н. А. Пресс, перевод, 2021

© Н. А. Теплов, оформление обложки, 2021

© Издательство Ивана Лимбаха, 2021



Путеводная звезда внутри. Предисловие к шведскому изданию 2010 года

Перед нами один из самых необычных романов XX века, написанный в состоянии лихорадочного безумия и неизбежно напоминающий нам сочинение середины XVIII века, а именно «Песни Мальдорора». Разумеется, произведение Дюкасса нельзя назвать романом в полном смысле этого слова, но так ли легко провести границу между жанрами? Исидор Дюкасс и Стиг Дагерман пишут свои произведения в одном возрасте, однако их жизненные ситуации серьезно различаются. Дюкасс – юноша из Уругвая, мучимый положением изгнанника в мировой интеллектуальной столице той эпохи, в то время как Дагерман – активный участник анархистского движения, набирающего силу во время фашистского режима и Второй мировой войны. Однако эти два текста во многом схожи. Несмотря на то что Дагерман никогда не упоминал об Исидоре Дюкассе, их роднит мощнейшая энергия, ураган образов, необузданная, ликующая и бурлящая фантазия, саморазрушительный юмор. Вероятно, таковы приметы эпохи: Дюкасс возмущен конформизмом буржуазии при Наполеоне III, Дагерман испытывает отвращение по отношению к правоверным политикам, к их самодовольным речам о классовой борьбе и масштабным проектам из серии «как сделать мир лучше». Все это обесценено, испанская революция потерпела крах, в Советском Союзе и Латинской Америке возникли жуткие диктаторские режимы. Похожий дух времени мы встречаем в мрачнейшем пессимистическом произведении Хуана Рульфо «Педро Парамо» – одном из ключевых романов XX века, написанном в атмосфере насилия во время мексиканской контрреволюции тридцатых годов.

Но можно ли сказать, что Стиг Дагерман является исключительно продуктом своей эпохи? Второй его роман, «Остров обреченных», увидел свет вскоре после литературного успеха дебютного романа «Змея» и привел писателя к интеллектуальному и эмоциональному одиночеству. Как и все его романы, текст наполнен личным опытом, переживаниями мятежа и краха, но в первую очередь проклятостью и отчаянием, отказом принимать «удобные» гуманистические доводы. Можно ли назвать этот роман в чистом виде анархистским? Вполне, поскольку он отрицает прогресс, достигнутый путем насилия, и замыкается в закрытом мире – на острове, который одновременно является концлагерем, лагерем военнопленных, тюрьмой и психбольницей. Затерянный уголок вымышленной Вьеламской республики, где нет законов, нет денег, нет вооруженных полицейских, – одним словом, здесь мог бы возникнуть анархистский рай, если бы герои не продолжили «гнуть спину с противоестественной готовностью, позволять угнетать себя, охваченные фатальным чувством бессилия и бесправия».

Подобно эмигранту из Монтевидео, Стиг Дагерман борется со всем, что мучает его в жизни, – с разрушительным образом отца, Кроноса, подвергающего собственных детей пыткам и поглощающего их; с ти-раном Начальником, который использует свою власть, чтобы подчинить себе всех служащих. Он заперт в кошмаре, на острове в ядовитой лагуне, где героев поджидает смертная казнь и обитает рыба-убийца, невидимый гигант, скрывающийся в морской глубине. Героями в полном смысле этого слова можно назвать только романтика Луку Эгмона, который как будто бы перенесся сюда из прошлого века, Лозля (напоминающего Фальмера из «Песен Мальдорора») – ангелоподобного, готового к самопожертвованию, великана Тима Солидера или вконец запутавшегося пилота Боя Ларю, находящего утешение лишь в объятиях противоречивой англичанки. Герой романа – все эти действующие лица одновременно, одержимые невидимыми ранами, которые калечат их тела, словно лиса в древнем мифе о спартанце.

Вымышленный мир Стига Дагермана сродни миру сюрреалистов с той лишь разницей – и здесь снова прослеживается сходство с Лотреамоном, – что хаос возникает внутри самого рассказчика, а не во взгляде, обращенном на окружающий мир. Этот мир далеко не абсурден:

войны, организованная преступность и предательство, по Эгмону, являются следствием того, что их жертвам не хватает осознанности. «Жить – значит быть послушным, а быть послушным – значит ничего не хотеть и просто передавать дальше то, что нельзя оставить себе, а если передать невозможно – что ж, появится новая рана».

На острове, откуда невозможно сбежать, нет воров – им негде спрятаться. Возможно, капитан обречен умереть, а герой – стать живым мертвецом в мире собственных грез, где абсолютная жестокость одерживает победу – лев на свободе и хищная рыба с шипами в водах лагуны.

Книга Стига Дагермана поражает и потрясает неизбежностью судьбы, которая описывается со страданием и всепоглощающим сарказмом, присущим молодости. О короткой судьбе писателя, которая закончится всего десятью годами позже, пишет в прекрасном послесловии к французскому изданию романа Клас Эстергрэн. «Остров обреченных» в каком-то смысле вместил в себя все наследие Дагермана, его романы, стихи и политические эссе в урагане ощущений и образов. Его основная тема – роковой водоворот судьбы, который постепенно засасывает в себя все, увлекая на самое дно. И сегодня эту книгу невозможно прочесть и остаться невредимым, не подвергнув сомнению собственные убеждения и взгляды. С одной стороны, у нас есть капитан, который говорит: «Что вы знаете о бесконечном одиночестве мира? Оно куда больше, чем мы осмеливаемся подумать даже в мгновения экстаза, когда не очень хорошо осознаем, что происходит, но ощущаем его всеми нервными окончаниями». С другой – есть осознание, ясность, камень, который Лука Эгмон сжимает в руке, высшие силы, без которых жизнь невозможна: «открытые глаза, без страха созерцающие жуткое положение, в котором мы очутились, – вот что должно стать нашей путеводной звездой, нашим единственным компасом – компасом, задающим направление, ибо если нет компаса – то нет и направления».

Со смирением и благодарностью к Стигу Дагерману, который позволил своему огню спалить себя дотла, чтобы указать нам путь.

Ж.-М. Г. Леклезю

Потерпевшие кораблекрушение

Две вещи внушают мне ужас: палач внутри меня и топор надо мной

Жажда на рассвете

Кстати говоря, джин с добавлением разжеванных молодых листочков падуба, вымоченных в галлиевой кислоте, и обжаренного кардамона, слегка разбавленный талой водой из быстрого горного ручья, был выпит залпом уже на рассвете – раздался последний смех, захлопнулась дверь автомобиля, да-да, а теперь...

Будто глядя кого-то по щеке, спящий Лука Эгмон водил правой рукой по песку, плотному за счет прочной кристаллической решетки соли. Длинный белый червяк, весь состоявший из плотно пригнанных друг к другу колец почему-то черного цвета, отделился от черты вылизывавшего берег прибоя и с ужасающей скоростью, извиваясь, пополз вверх по пологому склону. Существовал ли червяк в реальности или лишь в наполненных ужасом глазах смотрящего?

Лука Эгмон лежал навзничь, плотно прижав к песку здоровую ногу, – такое положение тела давало устойчивость, но устойчивость иллюзорную, ибо после захода солнца от песка веяло колючим злым холодом, упорно обволакивавшим конечности пленкой, твердой, как панцирь, и продолжающей затвердевать с каждым мгновением падения острова в ночь.

Да-да, именно падения. Неужели только он один заметил, что ночь перестала опускаться на остров с потолка где-то там в вышине, а день уже не заполнял черную дыру белым паром? Нет, теперь переходы стали резкими и неожиданными: свет загорался на первый взгляд стойким пламенем, но потом быстро наступало удушье – вот только рука душителя была невидимой. Неужели он остался один на этой несущейся с бешеной скоростью планете, на присыпанном песком каменном шаре, неумолимо падающем вниз, на дно мирового колодца? Зеленоватые, прозрачные по краям слои атмосферы, фиолетовые полосы, вспышками пронесившиеся мимо багровые языки пламени, протыкавшие слоновьими бивнями собственное дрожащее сердце, словно хамелеон, менявшее цвет при каждом переходе. Синева по краям, там, где связь жестоко разрывалась взрывающимися лихорадочно желтыми всплохами, похожими на мечущихся над землей ласточек. Затем – крошечная тьма, тот же воздух, но другого цвета – большей насыщенности и плотности, способной снизить скорость падения. Падение сквозь ночь не становилось от этого менее мучительным, но замедлялось, снопы искр звездами взмывали над островом. Издалека можно было увидеть, как они освещают молочно-сероватый слой, откуда, словно из огромного, но не видимого обычным глазом вымени, стекали белые ручейки.

Стало быть, рассвет. Лука Эгмон лежал навзничь на песке, слегка согнув раненую ногу с пробитой икрой; нога чуть возвышалась над подстилкой пологим виадуком. Серые колючие лучи касались закрытых век, постепенно вытаскивая его из сна. Полный тревоги взгляд притаился за дрожащей пеленой и украдкой поглядывал на ползущую к нему по песку руку, на поверку оказавшуюся его собственной. Вздувшееся животное, похожее на черепаху с истекающими кровью лапами. «Уйди, – хотел прокричать он, – оставь меня в покое!» – но животное выкапывало в песке ямки, откуда поднимались ослепительно-белые, тонкие, как проволока, струйки дыма.

Положение его было незавидным: Лука хотел закричать, но это было невозможно, ведь распухший язык превратился в огромный подрагивающий во рту сжатый кулак. Во время кораблекрушения жестяные бочки с пресной водой выкинуло за борт и швырнуло о риф с

такой силой, что они треснули и теперь лежали на выступающей из воды его части, словно выползшие погреться толени, а бесконечные пулеметные очереди прибоя, приходившие из-за горизонта, неумолимо барабанили по блестящим жестяным спинам с утра до ночи.

По крайней мере, на острове звучала музыка. Похоронные барабаны приглушенно, но неустанно и безжалостно пробивались сквозь шелест прибоя, и, даже когда остров проносился через жаркие, охваченные желтым огнем слои атмосферы, Луке Эгмону казалось, что его слуховой нерв тонкими электропроводами связан с этим тревожным барабанным боем, разносившимся над морем со стороны рифа. Он пытался избавиться от навязчивого звука, прячась вглубь острова, но провода тащились за ним по сухому и мелкому, словно табак, песку, по чавкающей под ногами прибрежной линии, по острозубым вершинам скал, в тени которых дремали коричневые ящерицы. Барабанный бой заставлял его бежать все дальше через густые шелестящие заросли, полные таинственной тишины, через высокий тростник с большими устрашающими метелками, наполненный таинственными звуками, издаваемыми то ли змеями, то ли небольшими зверушками вроде кроликов, которых Тим Солидер, по его словам, видел на опушке леса.

От такого марш-броска кровь побежала по венам быстрее, рана на икре вскрылась, и, в конце концов, измотанный потерей крови и дерущим душу страхом, он выбрался на открытые голые скалы, возвышавшиеся над узкой полоской песка, плинтусом обрамлявшей остров. Там, наверху, обычно ходил кто-то еще, высматривая в водах лагуны съедобную рыбу, вглядываясь в горизонт в тщетной надежде увидеть где-нибудь в пределах досягаемости другой, более приветливый и дружелюбный остров. «Господин Эгмон, господин Эгмон, – окликали они его в первые дни, пока в прибитых к берегу ящиках с провиантом еще оставались аппетитные полоски вяленого мяса, – позвольте помочь вам, господин Эгмон! У вас же нога...»

Неужели никто из них не слышал постоянного барабанного боя, проникавшего, где бы он ни находился, в его голову по эластичным, с невероятным садизмом сконструированным проводам?

Сейчас, лежа на берегу, он думал, что и это тоже вполне могло ему присниться. Неужели почти парализованные, предательски дрожащие сейчас ноги, распухшие, медленно синеющие куски плоти – ах если бы только нашелся нож! – когда-то несли его вверх по крутому склону, мимо всех этих людишек, которые совершенно не понимали всей серьезности его, да и своего собственного положения? Ему хотелось заглянуть каждому из них в рот и убедиться наконец, что их языки тоже превратились в гротескные, раздутые, слизистые комья песка. До последней секунды, да, до последней капли воды, пока еще держатся на ногах, они будут беззаботно расхаживать по равнинам, словно энтомологи в поисках бабочек, будут каждое утро пропускать рассвет, хотя с каждым новым днем падают все ниже и ниже, постепенно опускаясь на самое дно мира.

О-о-о-о-о! Он не мог пошевелить ни рукой, ни ногой, не мог сдержать внезапного стога: один, другой, еще один – целая каденция стонов без начала и конца болезненными толчками проходила сквозь его тело, билась в животе, резала грудь, обжигала горло, с невероятной силой липла к языку. Но куда же они девались потом? Очередной стон раздался будто бы вокруг него, приподнял в воздух, окружил со всех сторон, как вода, затек в уши, горячий и возбуждающий, как пар над только что наполненной ванной. Обертоны медленно проходили по расширенным каналам, невесомым вихрем проносились по телу, и оно неспешно вращалось, улавливая малейшие импульсы к движению, – Лука постоянно чувствовал всей поверхностью кожи легкое, умелое давление звука, становившегося все более высоким, упрямые пальцы растягивали кожу, и она начинала просвечивать, будто пленка, нервы наматывались на страшные скрюченные пальцы, опускавшиеся в свежую, обжигающе ледяную воду, как будто с тебя заживо сдирают кожу, обнажая мягкое нутро, – а потом он проснулся на уже знакомом лугу в навеянном жаждой сновидении.

Трава, мягкие метелки и колоски его детства. Пони Понтиак скачет по высокой траве луга, подпруги ослабли, седло съехало и бьет пони по блестящему, словно начищенный ботинок, черному боку. Бежать по высокой зеленой траве, выть от долго сдерживаемой боли и так внезапно наступающей радости, броситься на шею танцующему животному! И эта мягкая влажная морда прижимается, тычется тебе в затылок, в голую шею, в разгоряченный лоб, и ты падаешь в по-летнему теплую траву. Ибо в этом сновидении царит вечное лето, большая белая бабочка порхает туда-сюда над твоей летней головой. И вот ты садишься в седло, прищипываешь Понтиака, деревья в парке истекают солнцем, а там, у корней дуба, лежит мячик от крикета, улетевший сюда от удара дяди Джима накануне вечером, – ну и пусть себе лежит, почему бы и нет! Понтиак тяжело дышит, блестящая шкура обтягивает его сердце, легкие, нервы, но наездник, мальчик в красном берете, лишь прищипывает его сильнее. Понтиак выбегает на аллею большого парка, пыль клубится вокруг копыт, по обе стороны выются колеи, оставленные колесами хозяйского экипажа, и вдруг, описав дугу, пони оседает на колени, с глухим стуком роняя голову на песок.

Тут же появляются прятавшиеся все это время за дубом дети садовника, молча стоят и смотрят на всадника и лошадь. Мальчик и девочка, слишком длинные руки, как плети, свисают к земле, две пары глаз, словно натянутая над ненавистью пленка, одежда поношенная, застиранная, Лука с трудом узнает в ней принадлежавшие когда-то ему самому вещи. Никто из них не двигается с места, они молча стоят и смотрят на наездника и мертвую лошадь. Копыта уже неподвижны, судороги прекратились, пыль, словно пудра, неспешно ложится на круп, поблескивающий от пота, выступившего на теле еще живого пони. Все замерло, и тени дубов на дороге внезапно становятся очень четкими и черными, стихает шелест деревьев, умолкает монотонный скрип мельницы с давно перекошенными лопастями, узкая белая аллея простирается за спиной мальчика и перед ним, а рядом лежит Понтиак, мертвый пони. Дети садовника дышат так шумно, что их дыхание заслоняет весь мир, сковывает парк, облака на голубом небе и даже щебетание птиц, а Лука стоит рядом с мертвым пони.

Для того чтобы их дыхание не заслонило его, а может быть, по каким-то иным, пока неясным причинам он нагибается, достает из кармана шелковый носовой платок и вытирает пыль с коричневых ботинок из роскошной оленьей кожи. Вытирает очень медленно, тщательно и методично: сначала до блеска начищает длинные, довольно острые носы, и те начинают сверкать на солнце, словно алебарды, потом все остальное, до самого красиво изогнутого задника. Украдкой он поглядывает на босые ноги детей садовника, желая увидеть, как они задрожат, как слезы закапают на песок, как дети сорвутся с места и побегут по парку. Ему отчаянно хочется сделать так, чтобы они перестали дышать. Потом с тем же невыносимым спокойствием и тщательностью он отряхивает пыль с брюк, поглядывая на голые, исколотые шиповником коленки детей садовника, – он хочет, чтобы они пустились в пляс и разорвали наконец звенящую тишину, – но этого не происходит. Их ноги остаются такими же неподвижными, как у мертвого Понтиака. Только пыль с одежды мальчика медленно падает на мертвое тело пони, на высохший пот, на выступившую на губах пену, к которой уже начали слетаться мухи.

Долгое время и правда ничего не происходит. Не слышно звона цепей, обычно доносящегося с псарни, – псы даже не вышли из своих будок, – не слышно стука молота из замковой кузницы. Оторопев, он срывает с себя короткую курточку из красного бархата, размахивает ею над мертвым пони, пытаясь отогнать насекомых, безмолвно оккупирующих мягкую плоть: непрерывная череда красных муравьев протягивается из травы прямо к внезапно утратившему блеск хвосту, как будто на дороге проступает алая артерия и веером расползается по спине и крупу. Длинные рукава курточки украшены бабушкиными вышивками: человек читает висящую перед ним в воздухе книгу, белые розы над лезвиями сабель – так выглядит их фамильный герб. Пытаясь оттянуть решающий момент – ведь для него это именно так, он должен стать господином и овладеть дыханием детей садовника, – он бесконечно долго сколь-

зит пальцами по каждой розе, по каждой сабле. Неужели в парке все равно стоит тишина: ни плеска весел в пруду, ни тихого свиста мальчишек, подстригающих живые изгороди замка? Нет, со всех сторон Луку окружают только вдохи и выдохи, липкие от низменных страстей. Он смотрит на висящие плетью руки детей, совсем неподвижные – хоть бы немного шевельнулись, хоть бы поклонились с почтительным выражением лица или, к примеру, похлопали пони по крупу, это бы спасло его, но тишина и парализующая неподвижность совершенно невыносимы. Тогда он хватается за последнюю соломинку: снимает красный берет, медленно, очень медленно, стряхивает с него пыль, ударяя о согнутое колено, а сам поглядывает на макушки детей садовника, на их рыжие, словно медь, волосы, но дети немymi каменными истуканами лишь склоняются над пони. Все пропало, понимает он, сжимая берет в кулаке; снаружи на него давит их безжалостно громкое дыхание, а внутри – горе, страх и ужас, которые он давно научился подавлять: с помощью крикета, верховой езды, соколиной охоты с Аяксом и тайных побегов к детям местных бедняков. Все это разом наваливается на мальчика, и у него возникает чувство, известное ему как вина.

На мгновение в мире исчезает все, кроме боли и неподвижности; ручейком горького вина через аллею перетекают муравьи, брюхо и ляжки пони уже покрыты ими, мухи и другие крылатые насекомые в страхе бесшумно взмывают вверх, к кронам деревьев. И тут, сам того не желая, он с такой невероятной силой пинает пони в бок, что одно копыто приподнимается, а потом падает, давя при падении несколько муравьев.

И тогда мальчик со всех ног пускается бежать. Он никогда сюда не вернется, он хочет оказаться за тысячи световых лет от этого парка, от этой бесконечной летней аллеи с ко-леями от колес экипажа и следами копыт четверки лошадей, испещривших пыль, словно множество серебряных монет, аккуратно выложенных между двумя линейками. Тот, кто видит этот сон, наверняка знает, почему мальчик бросился бежать и зачем он пнул пони, а вот маленький мальчик на белой дороге в закинутой на плечо красной бархатной курточке не знает ничего, кроме того, что изгородь внезапно обступает его со всех сторон, что отвратительная зеленая лягушка, которой он побаивается, сидит прямо у его ног, что между высокими колесами экипажа стоят большие тяжеловозы, что плуги лежат прямо на земле, что белые куры с квохтаньем разлетаются во все стороны. Вот он уже в саду, не-сется дальше, по клумбам, мимо лилий, мимо изящных камеристок матери, спящих на траве, прикрыв лбы носовыми платочками, вбегает в дверь, ведущую в библиотеку, и только там со слезами падает на ковер, всем телом зарываясь в аромат медвежьей крови и сигар.

С годами он начинает понимать, что произошло, в парк больше не ходит, по вечерам часто стоит в каком-то неопишемом отчаянии у стрельчатых окон башни и вглядывается в сумеречные деревья, а потом видит, как ворон летит между синеватых стволов в сторону мельницы, чьи кривые лопасти – единственное, что не меняется в этом мире, и ему кажется, что пони так и лежит на дороге. Старая кляча, полуистлевшая плоть, вся в рытвинах-колодцах, в отметинах от клювов и зубов, и он в полной растерянности, в полубредовом состоянии хочет броситься вниз по лестнице, выбежать из башни и вырыть наконец могилу для погибшего друга, но тьма опускается слишком быстро, он всегда падает в чьи-то объятия, и его, совершенно обессиленного, несут по холодным сырým залам, пропахшим пылью и подгнивающими портретами на стенах, несут обратно в его комнату в зеленых тенях, отбрасываемых стенами флигеля.

«Большой», – шепчут в замке. «Полоумный», – поговаривают в деревне. Психологи, психиатры, психотерапевты и аналитики, все эти настройщики струн человеческих душ, прибывают на поездах, мотоциклах, автомобилях, автобусах и летательных аппаратах, стекаются ко двору, словно женихи к принцессе в старинных сказках. Составляются расписания и графики, из города приходится все время выписывать пополнение запаса чернил, арсеналы, кладовые и шкафы с семейными скелетами превращаются в библиотеки и лаборатории, вопросы сып-

лются справа, слева и со всех сторон, его опрашивают со всей серьезностью, вопросы падают с потолка, словно бумажные самолетик, ибо метания души необходимо исследовать, в замок постоянно доставляют какие-то аппараты, похожие на фонтанчики с питьевой водой, или посудомоечные машины, это все невероятно интересно и очень сомнительно.

Но ужас не проходит, равно как и чувство вины и все остальное; его пытаются вывести в парк, словно упирающегося быка, показывают гравий с парковой аллеи и с других дорожек, заверяя, что между ними нет равным счетом никакой разницы. Различные справки подтверждают, что действительно, труп пони Понтиака был отдан для пропитания неимущей, голодающей семье, которая никогда не жаловалась на свой удел и не принимала участия в беспорядках по причине голода. Однако ему никак не удается обрести ясность, суть произошедшего от него ускользает, он не может проникнуть в темные тайны случившегося, и тогда рано утром, когда слуги приходят к нему в покои с портшезом и веревками, чтобы отнести его в парк, он убегает от них по голубой винтовой лестнице, вылезает на крышу за старый бордюр, где гнездятся лишь галки и грезы детей бедняков. Среди статуй во дворе мельтешат черные точки, их собирается все больше и больше, на черных футлярах тел внезапно белыми бутонами расцветают лица размером с булавочную головку.

– Хватит с меня веревок и глупых вопросов! – кричит он собравшимся внизу, балансируя на карнизе, и заносит одну ногу над немой бездной. – Хватит с меня докторов, лекарств, дурацких аппаратов, рентгенов и всей этой радости!

Отец наверняка тоже стоит где-то там внизу, старый офицер с безумными мечтами о карьере циркового артиста. Конечно, вон он уже бежит по двору: двуногий муравей, шпоры ослепительно сияют на солнце. Повсюду начинается суэта: на телегах натягивают отрезки материи, отовсюду сползаются противные жуки-автомобили, на них грузят ящики, люди выпрыгивают из машин и запрыгивают обратно, весело сигналият шоферы, и вот наконец тонкий ручеек моторных и тягловых средств передвижения начинает вытекать из ворот замка на большой тракт – и Лука наконец бежит вниз, чтобы в тишине и покое раскрыть тайну пони Понтиака и детей садовника.

Но тут отец грубо хватается за плечо и тащит за собой через безлюдные комнаты, где от умирающих портретов исходит все более сильный запах тлена, – портреты людей, еще при жизни находившихся на разных стадиях разложения, спустя несколько лет начинают источать неприятнейшие запахи. Отец запирает дверь библиотеки на засов, задергивает шторы, снимает со стены хлыст длиной метра четыре. В юности он сбежал из дома с цирковыми артистами, завел роман с примадонной, помогал служителю кормить львов, но его вернули домой и на четыре месяца посадили в подвал. Там, среди крыс, плесени и промозглости, он научился орудовать хлыстом, методично убивая свои желанья, и наконец достиг таких вершин мастерства, что мог одним ударом раскроить череп бегущей мимо крысы, белки на вершине березы, и вскоре совсем позабыл о львах и тиграх, переключившись на крыс и бельчат. Все любили его за тупость, восхищались жестокостью, воспевали его богатство, и в скором времени в его распоряжении оказалась самая большая коллекция хлыстов в стране.

– Раздевайся, – говорит отец мальчику, – раздевайся догола, одежду положи на ковер, нагнись вперед, никчемное создание, слегка раздвинь ноги, спиной к двери, голова как можно ниже к полу, мордой вниз, – так ты будешь похож на льва!

Он вытягивает бесконечно длинный хлыст, еще раз поворачивает ключ в замке, за дверью раздается топот до смерти перепуганных слуг. На минуту наступает тишина, а потом из ворот замка с грохотом выезжают повозки, слышится ржание лошадей, кучер запекает песню, кнут медленно ползет по полу, будто змея, разворачивается, неумолимо приближаясь к напуганному мальчику с белой, как слонобая кость, кожей. По приказу хозяина кончик кнута приподнимается, ласково обвивается вокруг серебряного канделябра, а потом с силой швыряет его через всю комнату.

– Не шевелиться! Руки сцепить на коленях! Спина ровная! Так удобней бить!

Хлыст со свистом взмывает вверх, и белую спину мальчика, от правой лопатки до левого бедра, пересекает глубокий алый канал.

– Вот тебе за твои проклятые размышления! Размышления – недостойное занятие, годится разве что монахам, беднякам, сволочам да ефрейторам! Зачем размышлять, когда у тебя вдоволь вина, хлыстов и лошадей? Чувствуешь, как вино стекает по глотке? Не нравится – выбери другое! Чувствуешь, как приятно подрагивает в ладони хлыст? Не нравится – попроси мастера сделать рукоять поудобней! Лошадь должна быть быстрой, а если она издохла – сама виновата, найдутся другие ей на смену! Сострадание? Какая глупость! Пустая трата драгоценного времени! Пришпорь клячу и заставь ее уважать тебя!

– Вот тебе за твои проклятые разговоры о чувстве вины! Вина – удел слабаков, за этим они и родились! Сиди себе в партере и смотри на их ужимки и прыжки, весь этот спектакль ради денег, а режиссер, скорее всего, – их родственник. В спектакль не вмешивайся, сиди и смотри, пока смешно! От тебя никто ничего не ожидает в этой бессмысленной жизни, похожей на глупые вирши, а если и ожидает – ничего, пусть узнают, что такое разочарование!

– Вот тебе за твою проклятую юность, которая, кстати, скоро пройдет!

– Вот тебе, чтобы она прошла как можно скорее!

– Вот тебе за каждую лошадь, которую ты загонишь в октябре, когда мы устроим большую охоту на кабана и ты будешь хохотать над трупом вместе с нами!

А потом мальчик медленно оседает на пол, система рек и каналов у него на спине выходит из берегов, весь мир состоит из одних ударов хлыста, ковер окружает его со всех сторон – запах медвежьей крови с годами подвыветрился, остался лишь запах сигар, пролитого виски и парфюма любовниц. Проходят минуты, а мальчик так и не очнулся, проходят часы, а мальчик так и не очнулся: он исчез навсегда. Внезапно Лука снова обнаруживает себя. Время утекло сквозь пальцы, и он уже далеко не мальчик, спина немного ноет под тесным сюртуком, слегка саднит, когда он надевает и снимает рубашку, в остальном же он совершенно здоров. Отец состарился, сгорбил, ходит, наклонившись вперед под неприятным углом; мать, которую он раньше не особенно замечал, теперь все время стоит у плиты с красными глазами или корчится от каких-то загадочных болей на диване в передней. Да, это правда: замка больше нет. Если верить отцу, все произошло из-за сговора спекулянтов и рабочих, финансы поют романсы, сначала продали всех лошадей, потом распродали землю, отослали слуг, но и это не помогло.

Теперь все трое ходят по серым городским улицам, согнувшись под бременем желаний и пустых надежд. Возьмем, к примеру, стари-ка: каждый вечер, с трудом дождавшись наступления темноты, он пробирается на чердак в старом доходном доме и там в одиночестве предается воспоминаниям о своих цирковых подвигах, сжимая в костлявых пальцах сломанную удочку с привязанной к ней толстой веревкой. В остальном же он с этим делом завязал: по полдня ошивается в одном из четырех местных трактиров, громогласно рассуждает о политике, время от времени пишет жалобы в газету о расплодившихся бездомных псах, а что на самом деле творится у него на душе, наверное, никому не известно.

На мать жалко смотреть: возможно, ей грустно оттого, что нечего бросить оголодавшим и оголтелым мартовским кошкам, спаривающимся на заднем дворе, – разве что скомканые старые письма, напоминающие о жизни в замке.

Что же сам Лука? Как уже говорилось, раны от хлыста не сильно его беспокоят, но кто знает, отчего в ночных кошмарах ему до сих пор снится парк? Отчего в банке, в рабочее время, в контурах облупившейся краски на письменном столе ему часто мерещатся очертания парка, а из щелей время от времени на него поглядывает пони? Неужели чувство вины никуда не делось, неужели оно бесконечно? Все течет и изменяется, и если сидишь на бревне, играешь на музыкальном инструменте, а под бревном лежит кто-то, кому не вмоготу слушать твою музыку, то, казалось бы, чего проще: встань и откати бревно. Но если сидящий еще молод, то те, кто

уже имеют большой опыт сидения на бревне, рассказывают ему, что стоит хоть чуток пошевелиться, как вся эта конструкция – разумеется, в символическом смысле – тут же рухнет. Лучше настроить инструменты и заиграть снова, да погромче, чтобы заглушить стоны, к тому же тогда этому бедняге под бревном, на котором, кстати, и держится вся конструкция, будет лучше слышно, и он получит хоть какое-то удовольствие от концерта. Можно еще чуть-чуть поковырять у него в ухе, чтобы музыке было легче проникать в его мозг, – вот оно, единственное проявление милосердия, которое можно себе позволить, не рискуя при этом собственной шкурой, а то могут и череп проломить.

Молодым да зеленым, вроде Луки, кажется, что они прикованы к бревну и стоит хоть немного пошевелиться, как весь мир угрожающе закачается, от воя музыкальных инструментов и красных толстых щек трубачей тошнит и выворачивает, накатывает беспомощность и невыносимое чувство вины. Но может и повезти – тогда тебе в руки сунут блокфлейту, и вот ты уже умеешь закрывать пальцами нужные отверстия и дуть изо всех сил, и вот ты уже находишь свою винтовую лестницу в огромном здании забвения, и вот ты уже по доброй воле сидишь на этом роковом бревне и украшаешь крошечный храм символики, стоящий на твоих плечах, орнаментами собственного изобретения. Высоко под потолком, у фронтона, подвешивается чувство вины в виде дурацкого детского воспоминания из спрессованной жести. Однако с Лукой все вышло немного иначе: первое время после детских бездумных прыжков на бревне его сковывала вина – страх ходить в парк, смерть пони и дети садовника, его будто зажало в тисках. Хлыст принес ему освобождение, маленькая флейта запела в его руках, но все же недостаточно чисто, с четким обертонном страха, вины и горечи, заметным для членов семьи. Только отец успел в достаточной степени попрактиковать свои цирковые забавы и изгнать остатки непослушания из тела мальчика, как наступил крах, бревно медленно перевернулось, и теперь уже под ним оказались они сами, в ужасе хватая ртом воздух. И что, неужели теперь, когда обет молчания нарушен, Лука обратился против тех, кто втоптывал его в грязь? Неужели он, без вины виноватый, теперь стал праведником? Удивительно, но Лука как был одинок, так и остался. Новообретенные друзья, потевшие с ним в одном кабинете по десять часов в сутки, делившие с ним скромную трапезу из в спешке разогретых соевых бобов и картофеля, чтобы не дай бог не лишиться места, засиживавшиеся допоздна, чтобы успеть сделать сверхурочную работу, без которой не смогли бы внести плату за те комнаты, в которых они работали сверхурочно, если, конеч-но, не спали, чтобы снова купить себе бобов и набраться сил работать сверхурочно и дома, и в банке, – новообретенные друзья с согбенными спинами, коротко похахатывающие и распространяющие невнятный запах в меру чистых носков, не имели с ним ничего общего, кроме того, что и они попали под бревно, и теперь медленно умирали от музыки, которую играли усевшиеся на него люди.

– Дорогой друг, это все из-за атмосферного давления преходящей природы, – покровительственно говорили они Луке, когда тому хотелось что-то изменить, – смотрите, вот чудные таблетки от головной боли, вам наверняка полегчает!

Люди они были милые и дружелюбные, хоть и проявляли сочувствие в слегка вымученной манере, ведь им нужно было экономить время и силы для максимального продления рабочего дня; к тому же таблетки помогают от всех напастей. Растерянный Лука пригоршнями глотал дурно пахнущие кружочки, они застревали где-то на полпути, в горле начинало першить; сначала совсем не помогало, но через пару недель ему стало казаться, что бревно вызывает у него не большой дискомфорт, чем слишком короткие подтяжки на брюках. Так-то оно, конечно, так, но потом чувство вины вернулось, хотя абсурдно иметь чувство вины, когда ты сам уже никого не притесняешь и не угнетаешь. Неужели тот, кто лежит под бревном, несет на себе еще и бремя вины того, кто сидит сверху и играет на блокфлейте? Лука долго корпел в библиотеке над трудами по теологии, но безуспешно. В Китае в больших количествах от голода мерли китайцы, в неизвестной ему раньше стране под названием Вьелам народ, как сообщалось

в местной газете, страдал под пятой каких-то бандитов – к примеру, людям с серой радужкой просто-напросто выкалывали глаза по прихоти жестокого тирана. А Лука совершенно ничего не мог с этим поделать, даже мысль о том, чтобы вмешаться, представлялась в нынешних условиях совершенно невозможной, ведь для начала нужно было где-то раздобыть денег на билет, ну или украсть их в банке – но разве это правильно? Пытаться избавиться от чувства вины в одном месте, заработав еще большее чувство вины в другом? Проклятый мир, где стоит только оторвать ногу от земли, как ты уже кого-то пнул, а стоит присесть – как уже кого-то раздавил.

Лука погрузился в размышления и начал с болезненной остротой осознавать, что с каждой секундой во Вьелама все больше людей лишаются глаз. Он поделился этой дилеммой в кругу знакомых, но оказалось, что те читают другие газеты и ему не верят. Тогда он взвалил на себя и их вину тоже, ибо кто-то должен нести на себе это бремя, согнулся под непосильной ношей, заработал искривление позвоночника, и ему стали советовать заняться лечебной гимнастикой. Один в высшей степени разумный господин, паразитировавший на богатых вдовушках и полный цинизма, ибо теперь ему остался доступен только этот вид интеллекта, как-то взял Луку под локоть, отвел в сторону и предложил взглянуть правде в лицо: во-первых, действительно ли это его дело – спасать глаза каких-то чужих людей из Вьелама? Ведь для начала этим было бы неплохо заняться самим жителям Вьелама, да и потом, если представить себе окружность с центром во Вьелама, то Лука блуждает где-то далеко на периферии, и от творящихся во Вьелама ужасов его отделяют бескрайние пространства виноватого молчания, брендмауэром отгораживающие мир Луки от вьеламских бесчинств: стена уходит вверх, до самых небес, и окружает его со всех сторон, куда ни погляди. Новость, конечно, пренеприятная – но тут уж ничего не поделаешь, как есть. К тому же в банке тоже наметилось некоторое беспокойство: начальство было обескуражено снижением производительности его труда, или, как они выражались, нездоровой бледностью сотрудника ввиду изменения состава воздуха. Его вызвали на заседание правления и открытым текстом попросили устранить причины столь непригодного для работы состояния под угрозой увольнения.

Зажатый между картонной стеной чувства вины и железной стеной экзистенции, он, как ни странно, решил отодвинуть первую, чтобы отвоевать хоть немного жизненного пространства для собственного тела. Невероятное совпадение, но именно тогда вдруг открылись раны, которые он считал давно затянувшимися, и ему приходилось двигаться крайне осторожно, чтобы ни в коем случае не подвергнуть себя малейшему риску. Брендмауэры окружили его со всех сторон, ограничив мир. Им с приятелем с работы дали несколько выходных, воскресений и суббот, и они стали ездить загород рыбачить, ловили небольших форелек, которых едва хватало один раз позавтракать. Там, на берегу быстрого ручья, у Луки случилось первое переживание смысла жизни безо всякого чувства вины. Ему повезло родиться в месте, окруженном брендмауэрами почти со всех сторон, и теперь он был совершенно обязан наслаждаться всем этим, раз подвернулась такая возможность. Такие явления, как выкалывание глаз во Вьелама, конечно, крайне прискорбны, но внушают еще больший ужас, когда вопиющая несправедливость, творящаяся куда ближе, вообще перестает беспокоить, ведь разве можно позволить такому незначительному фактору, как географическое расстояние, определять твою позицию? Учитывая интересы всех сторон, включая себя самого, а также чтобы не навлечь неприятности на сочувствующих, наилучшим решением представлялось просто забыть обо всем, даже о тех, кто подвергался пыткам, ведь разве чувство вины, возникавшее при попытках объяснить другим людям, что с ним происходит, не являлось лишь следствием неумения должным образом сосредотачиваться? Когда он действовал из чувства вины, то, стоило ему пошевелить ногой, как кто-то оказывался повержен на землю, а как только у чувства вины появлялся конкретный объект, то кто-то тут же подвергался притеснениям! Разве не лучше тогда хотя бы просто из уважения к другим людям отказаться от любых попыток высказывать свое мнение и уверовать в то, что со временем все разрешится само собой?

Его работоспособность постепенно повышалась – кстати, со временем у него выработался чудесный почерк, с причудливыми завитушками: руководству банка хватило одного взгляда на эти лихо закрученные буквы Д, чтобы убедиться в том, что Лука будет верой и правдой служить им до тех пор, пока не умрет от чахотки вследствие неудовлетворительной вентиляции рабочего места. Он писал всякую ерунду, но из ручки как будто изливалась часть его самого, если вообще не весь он. Еще у него появилась необычная страсть к графикам: в форме изящных изгибов на миллиметровке он описывал пойманных в воскресенье форелей, ежедневные походы в банк и обратно. В каком-то смысле он был типичнейшим представителем эпохи, укравшей у самой себя способность испытывать страдания, и теперь, словно вор-карманник, стоял посреди темной толпы, запускал руку в карман и доставал оттуда эту гадость. Потом пришла пора играть двойную роль вора и обкраденного, пытаться незаметно подсунуть свою боль в карман кому-то другому, всегда кому-то другому. Поскольку навыков мелкой моторики ему все же не хватало, часто он ошибался карманом, как это было ни досадно, и, приходя домой, обнаруживал, что карман набух огромным нарывом, и обокравшему самого себя вору выносили обвинительный приговор, поэтому оставалось лишь одно – упражняться в мелкой моторике.

И вот однажды ему приходит письмо. Придя вечером домой, он замечает белую тень на полке над камином. Замечает сразу, но сначала делает вид, что все в порядке, и садится ужинать, строит на тарелке тоннели из креветочных панцирей, забивает входы и выходы очистками от картофеля в мундире, как будто это поможет. Нож страха и острая вилка совести скрежещут и царапают серый фарфор, постепенно снимая с Луки позолоту чувства долга; мать смотрит на него гноящимися глазами, скулы туго обтянуты кожей; маленькая треугольная комната как будто спрессовывает все их мысли, надежды, воззрения и желания в тошнотворные треугольники. О да, теперь он чувствует, что пора выбираться из этого креветочно-картофельного тоннеля, иначе можно остаться в нем навсегда. Он просит нож: разрежь шерстяные покровы, разрушь позолоту моей наготы! Он умоляет вилку: наколи на серебряные зубцы мою удовлетворенность и бессовестное упоение графиками!

Внезапно он хватается за письмо, ломает печать, читает текст и кричит:

– Мне надо уехать!

Но мать уже все поняла и даже собрала ему вещи, он хватается за сумку, так и не взглянув на мать на прощание, выбегает на лестницу, слышит, как в подвале цокает языком новенький кожаный хлыст отца, для покупки которого тому пришлось какое-то время поголодать. Лука бежит вниз по лестнице, и удар хлыста почти отрывает ему ухо.

– Отец, – кричит он, – мне надо уехать!

Хлыст молчит.

– Зачем?

– Я получил письмо! Там сказано, что я должен прибыть в указанное место!

– По банковским делам?

– Нет, надо бросить всё! Пришло время наконец исправить зло, причиненное давным-давно!

– Стой где стоишь!

– Да, отец.

Все повторяется заново: по крайней мере, хлыст, кажется, тот же самый – хотя нет, не совсем, этот еще злее и кровожаднее. Лука падает навзничь на ведущей в подвал лестнице, стена, отделяющая прошлое от настоящего, рушится, бетонный пол уходит из-под ног, и на его месте возникает мягкая медвежья шкура, всем своим существом он прижимается к ней и в конце концов понимает, что никуда не уедет.

Лука встает, поднимается по лестнице, хлыст за его спиной внезапно смеется, радуясь недолгой встрече с каменной стеной; мать раскладывает по местам собранные вещи, но он

замечает, что одну сумку она прячет в шкафу под ворохом банковских журналов. Ужин продолжается в тишине, все возвращается на круги своя: в воздухе витают семейное счастье, чад от сковороды с мясом и затхлый запах старых обоев.

Время снова начинает идти довольно быстро, колонки цифр и форели живой изгородью сплетаются вокруг его жизни. Конечно, он замечает, что во время вечерней прогулки за ним медленно едет черный автомобиль, непрерывно мигая фарами. Двое мужчин бросают его на заднее сиденье, лица кажутся знакомыми. За окнами пустынная местность, у моста под одиноким серебристым фонарем стоит старик, хотя на дворе уже ночь, и играет на скрипке, можно бросить мелочь в стоящий перед ним открытый футляр, машину вдруг заносит, и переднее колесо давит футляр. Возможно, они даже слышат его крики, но вглядываются в темноту под мостом, где тусклый свет огней баржи струит свою пряжу в висящую над водой дымку.

Лука сидит сзади, зажатый между двумя громилами с напряженными голосами; они старательно следят, чтобы он не сбежал, но бояться нечего, Лука не из тех, кто способен на побег, – он сам связал свою волю по рукам и ногам, и теперь любой может вылепить из него все, что угодно; всякое действие с его стороны лишь ухудшит общее положение дел, и ему это прекрасно известно.

Куда же они едут? Спокойно, но без малейших ожиданий – да и чего ему, собственно, ждать? – он слышит, как большой автомобиль ревет в ночной тишине; на перекрестках иногда попадаются спящие телеги с кривыми оглоблями, напуганные коровы, разбуженные ревом мотора, надменно приподнимаются на колени в свете фар. Слегка приглушив двигатель, автомобиль съезжает на разбитую проселочную дорогу, лучи света беспрестанно бьются о стволы дубов или покачиваются на небольших, подрагивающих от страха темных прудах. От самой обочины начинается высокая трава, она медленно колыхается, будто от ветра, и теперь Лука начинает узнавать эти места, не чувствуя ни тревоги, ни удивления: дорога его детства и дубовый лес вновь нашли его, и, словно из толщи сновидения, за очередным поворотом появляется пони, точно в такой же позе, как после падения, появляется за мгновение до того, как машина останавливается; в ярком свете фар поблескивают миллионы муравьиных тел, подобные неоновой петле, накинутой на животное, которое еще не испустило дух.

– На выход, – произносит сын садовника, один из двоих сидевших с ним в машине всю эту долгую поездку громил. От него сильно пахнет сигарами, теперь он приземистый мужчина средних лет с желтым одутловатым лицом; рядом с водителем на переднем сиденье оказывается его сестра, все это время она была погружена в изучение карты местности, по которой они ехали, лицо прикрыто прозрачной траурной вуалью. Оторвавшись от карты, она, резко открыв дверь, выходит из машины. Лука быстро проходит мимо женщины, чувствуя ее дыхание даже через вуаль.

– Хватит, – шепчет она, – на колени!

Он медленно опускается на землю рядом с мертвой лошастью, как будто невидимая рука изо всей силы сжимает его ноги, словно пружины; свет фар гаснет, машина выполняет резкий разворот, и темнота под деревьями мгновенно засасывает автомобиль в себя. Женщина еще здесь? Он тщетно напрягает слух, отправляя его странствовать, но тот возвращается ни с чем, и, всхлипнув от одиночества, Лука вытягивается во весь рост рядом с лошастью и протягивает руки, чтобы прижать ее к себе. В этот момент труп, что вполне логично, исчезает, оставляя после себя только яму, могилу с краями на пять тонов чернее, чем окружающая темнота, и ему так одиноко, что он хочет погладить хотя бы яму; тело медленно всасывается в нее, переваливаясь через край, и начинается падение, да-да, падение, бесконечно медленное падение. Свернувшись в позу эмбриона, его тело падает вниз, белые щупальца ладоней мелко дрожат, ожидая соприкосновения с тугой шкурой, но тут со дна поднимается мощная волна, легко, словно ветер, подхватывает его и начинает кружить. Сопротивляться, извиваться, вырваться бесполезно, он готовится задохнуться, полностью раскрывается навстречу волне и вдруг понимает,

что ничего не произойдет, что во рту нет ни капли воды, нет, волна укутывает его собой, словно шелком, и, несмотря на то что тело внезапно обращается в огромный, извивающийся змеей язык и пытается уловить хоть каплю влаги, все усилия тщетны. Тем временем он опускается все ниже, и оттуда, с самого дна, ему навстречу поднимаются возбуждающие запахи: амбра и джин, аромат птичьей песни над вскрытой веной, резкие нотки прохлады винного погреба, жесткий запах металла и бедности латунного крана – все они наточенными спиралями рассекают тело, ставшее языком, а когда все страдания выстраданы, на дне оказывается безмолвный труп, и за зеркальной поверхностью воды можно разглядеть даже муравьев. Луку захлестывает волна гнева, и он снова превращается в себя, осознавая, что эта лошадь – мучающий его призрак – лежит на дне колодца жажды и ее шкура источает все ароматы боли, какие только есть на свете. Алчно скрючив пальцы, он бросается на нее, впивается острыми, как гвозди, ногтями в мягкую плоть – поглаживания давно позабыты, теперь он хочет выместить свое горе и отомстить.

Зарывшись ладонями в песок, он медленно, складка за складкой, разворачивается оберточной бумагой сновидения, запечатанного семьюдесятью печатями, – жалкое семечко внутри самой маленькой коробочки сна, – застонав, переворачивается на спину и жадно открывает рот навстречу воображаемому дождю.

Весенними воздушными шарами серые клочья рассвета разлетаются во все стороны, обнажая морскую ткань и обретающий четкие контуры остров. Обломки мачт корабля, похожие на лианы обрывки такелажа и треснувшая лебедка поднимаются к небу, к его обвисшим парусам из зеленого шелка, которые вдруг натягиваются и становятся гладкими, словно лед, но шелка мало, чтобы покрыть собой весь остров, и сквозь разрывы во все стороны хлещут потоки света, изливаются в море апельсиновым соком, и море быстро поглощает его, стремительные желтые языки пламени скользят по темным просторам. Ножницы яркого света обрезают зеленый шелк рассвета по краям, а в разрезах загораются обрывки серой дымки, воспламеняются солнцем, на невероятной скорости приближающимся к острову, словно налитый кровью глаз великана, а потом шелк лопается, и где-то там, на востоке, от него остается лишь крошечный обрывок, рыбацкий поплавок.

Все это действие кажется Луке Эгмону бесконечным падением. Продолжая хватать ртом воздух, он пытается подняться на ноги, но удается ему это, лишь когда скорость падения немного замедляется. Покачиваясь от жуткой боли в ногах и ощущая в горле щекотание пришедшей воды, он встает, брезентовые обмотки шуршат от малейшего движения, он с отращением чувствует, как жжется забившийся под ногти песок. Опыренный знанием собственной судьбы, пошатываясь, он бредет к лагуне, опускается на колени у самой воды, в иступлении погружает пальцы в обжигающую воду. Что-то давит ему на плечи, будто кто-то повис у него на шее; он ощущает непреодолимую тягу нырнуть, губы притягивает к воде словно магнитом, и вот лицо уже приближается к поверхности воды, а со дна лагуны поднимается подрагивающее отражение.

Обрывок сна еще трепетал на поверхности, и, стоя на коленях, он словно заново проживал сновидение, но уже наяву. Тем временем красный поплавок – испачканный кровью огромной рыбы – медленно, бесконечно осторожно всплывал на поверхность моря, как будто им управлял невидимый рыбак, изо всех сил старающийся не спугнуть добычу. Жажда, думал Лука Эгмон, все есть жажда. Вина, страх, все виды мук совести, жестокость и ложь – все это просто жажда; бегство и унижение, свершения и стремление к единству – все это просто жажда.

Глубина этого знания опрокинула его на спину, и тут ткань моря внезапно натянулась, словно бескрайний неподвижный тент синего цвета для страховки солнца-канатоходца, которое, выпятив алый живот, еще стояло на земле, глядя на ведущую вверх лестницу и канат. Жажда, думал он, все вращается вокруг жажды, вот она, единственная стабильная точка в хао-

тичной вселенной; кто мы без этой жажды – растерянные гости, которые впервые пришли на званый ужин в огромный дом и не знают, куда деть руки?

Жажда, думал он, только в ней я могу быть уверен, только благодаря ей я еще способен жить: но не ради утоления жажды – нет, ради ее поддержания, ибо, если утрачу свою жажду, что останется мне?

От рассвета до наступления утра внутренний сновидец, величайший циник из всех, носил Луку на быстрых лошадях, помогая ему ускакать от всего, что когда-то преследовало его: от вины перед замком и банком, от страха перед всем, что могло бы заставить его действовать, от мук совести из-за побега в мир графиков и заколдованных форелей. Что же еще делать, думал он, как не поддерживать жажду? Хочешь, чтобы несущественные мелочи разодрали тебя на куски? Тогда пей!

Из глубины острова внезапно взмыли белым облаком единственные водившиеся здесь птицы, похожие на чаек с голыми шеями и изогнутыми острыми красными клювами. Их немой, беззвучный полет напомнил ему напряженные минуты ожидания у зарытой в песок бочки с водой, толчки локтей, всегда возникавшую у него острую боль в стопах, сладкий момент удовлетворения, когда желанные капли смачивают десны, долгие мучения после, когда приходится опять прокручивать в голове одно и то же: зачем он предал банк, зачем дичайшим образом обманул своих работодателей и сбежал с давно припрятанными деньгами? Сплошной онанизм: один час сладкого самоискушения, минута, когда все растворялось в приятной боли, а потом целые сутки раскаяния и коварных ловушек разума.

Он яснее всех понимал, что их ждет, и знал, что спасительный корабль все еще стоит на приколе в Мельбурне или Касабланке; так неужели невозможно было избавиться от этих постыдных мыслей, приходивших в голову после утоления жажды? Дрожа всеми суставами не столько от холода, сколько от отчаяния, он с трудом поднялся на ноги, стараясь не слишком громко шуршать брезентовыми обмотками. Неужели все спят? Он ловит на себе алчные – да-да, наверняка алчные, какие же еще? – взгляды немых птиц с гуттаперчевыми шеями, которые кружатся метрах в пяти у него над головой. Да, похоже, что все шестеро спят: трое укрытых брезентом мужчин между костром и белой скалой; дальше всех лежит безумный капитан, даже во сне презрительно пожимающий плечами, отвернувшись от нервного рядового авиации, чье худое тело даже во сне вытягивается по стойке смирно; рядом с ним гигант Тим Солидер – спокойный, неподвижно лежащий под обрывком брезента, словно загорая на шезлонгах с женой у себя дома. У костра, прикрывшись лохмотьями, свернулась калачиком юная англичанка, чье стройное тело все время бьет мелкая дрожь, а рядом с ней – коренастая рыжеволосая женщина, окруженная тайной, пока еще неизвестной всем остальным. Поодаль, рядом с бочкой, на спине лежит обездвиженный параличом боксер, навеки сброшенный со счетов бывший чемпион.

Не понимая, что совершает преступление, распаясь от того, что всегда возбуждало его: возможности избавиться от чувства вины – единственного чувства, которое могло стать достаточным оправданием для совершения любого действия, – Лука Эгмон принялся обломком доски откапывать из песка ящик; раздался глухой стук, смесь страха и триумфа тут же заставила его упасть на колени, обезумевшие пальцы торпедами скользили по прохладной жестяной бочке. Под краном сделали углубление, чтобы было удобнее пить. Дрожа, он отвернул кран, и ему пришлось напрячь каждую мышцу, чтобы удержать голову неподвижно на гильотине тревоги и не наброситься на живительную влагу. Но песок пьет быстро – всего один огромный глоток, и он выпит в себя всю воду, остававшуюся на дне бочки, которую они радостно, словно туристы, докатили с корабля через весь риф в форме полумесяца, изогнувшийся вдаль от берега огромным крючковатым пальцем. Когда он поднял бочку испачканными руками, она оказалась легкой и беззвучной; он похоронил ее и вместе с ней все их надежды на спасение именно в тот момент, когда солнце приподняло ногу, чтобы ступить на канат, море набрало

воздуха в легкие, чтобы сделать глубокий утренний вдох, обитавшие в лесу птицы зловеще притихли, а какая-то ящерица начала глухо стучать хвостом по камням.

Лука подошел к лагуне, продолжая сжимать в руках обломок доски, и со всей силы зашвырнул его подальше. Вода ласково сомкнулась над доской, но тут произошло нечто странное: с ровного желтого дна лагуны, которое как будто плыло само по себе где-то внизу, под прозрачной толщей воды, поднялось несколько белых пузырей и, словно воздушные шары, устремилось прямо к доске. Дно пришло в движение, освобождая рыбу, которая все это время лежала в надежных объятиях песка. Один мощный удар хвоста, и она стремительно вылетела из укрытия, показавшись во всю длину, – метровая рыбина с покрытой отвратительно острыми пятисантиметровыми шипами спиной на полном ходу влетела в доску, беззвучно закружила под водой, оставляя шипами дорожки на поверхности, а потом медленно опустилась вниз, зарылась всем телом в песок и исчезла, как будто вообще никогда не существовала. Еще несколько мгновений возле дна наблюдалось легкое волнение, над песком ходили пенные облачка, а затем все стало как раньше.

Побледнев от ужаса, будто увидел галлюцинацию, Лука Эгмон попятился на дрожащих ногах – быть может, боялся, что чудовище нападет на него, если к нему повернуться спиной? – после чего со всех ног бросился к потрескивающему костру, подкинул туда ветку, бесшумно накрыл сползшим обрывком брезента англичанку, которая беспрерывно говорила во сне, и, немного успокоившись, подошел к бочке. Он уже собирался лечь спать рядом с боксером, но когда приподнял брезент и наклонился к парализованному, тот, не открывая глаз и едва разомкнув запекшиеся губы, выдохнул:

– Я все видел.

Лука Эгмон замер в ожидании, и вот наконец боксеру удалось слегка приоткрыть веки и устремить на преступника полный ненависти взгляд. Тогда Лука едва заметно улыбнулся и развязал красные шнурки, удерживавшие на ногах обмотки из брезента, – утром почти сразу наступала жара, и они уже были не нужны. Продолжая нависать над неподвижным телом, он медленно покачал туда-сюда красными шнурками, словно маятником, над щелками, заменявшими боксеру глаза. Тот крепко зажмурился, будто желая закрыть дверь, уполз внутрь себя, подобно змее, проникающей в малейшую щель, и ушел очень глубоко, оставив на песке одно тело.

– Да здравствует жажда! – улыбаясь одними уголками губ, произнес Лука Эгмон.

Утро. Паралич

На мгновение Джимми Баазу показалось, что паралич прошел, бедра обрели подвижность, глухая боль отпустила, ноги впервые за долгое время снова согнулись; ему захотелось убежать отсюда, и теперь он снова мог это сделать. Он скинул с себя брезент, и тут ему почудился знаменующий побудку тревожный бой барабанов – это стопы принялись ритмично стучать по отвердевшему за ночь песку. Господи, ка-кой же его охватил восторг! Воздух, ласковый и прохладный одновременно, все еще резкий после холодной ночи, зеленым листом обернулся вокруг его разгоряченного тела, солнце, подобно красному мячу для крокета, замерло на черном канате, а безмолвные облака птиц, окрашенные снизу красноватыми отсветами, медленно опускались белыми пальмовыми листьями, закрывая собой весь мир. Отвесная скала, приближавшаяся к нему на бешеной скорости, как-то нелепо отпрыгнула в сторону, угодив прямо в просыпающуюся зелень; сброшенные ящерицами шкурки поблескивали, как металлические пластины, на позеленевших камнях; в высокой траве, где Джимми еще ни разу не бывал, он надеялся обнаружить расселину между камнями, затолкать туда свое тело и предаться вечной неподвижности. Конечный пункт его бегства будет достигнут, дверь можно будет окончательно закрыть, ибо больше сюда не доберется никто. Никто из товарищей по несчастью не найдет его; тревожно выкрикивая его имя, они станут бегать по зарослям и вопить, что он должен вернуться, потому что они жить без него не могут.

«Жить без него не могут!» О, он прекрасно понимал, что им просто хочется разделить собственный страх неизбежной скорой смерти с парализованным, который не может за себя постоять. Бесконечно долгими днями они сидели рядом с ним, бросали друг на друга полные ненависти взгляды, постоянно спрашивали испуганными голосами, не больно ли ему, хочется ли ему жить, говорили, что от всей души желают и ему дожить до того дня, когда в бухту наконец войдет спасительный корабль.

Они приподнимали брезент и с каким-то жалким достоинством разворачивали тряпичные обмотки на обеих ногах, переломанных в ночь кораблекрушения, когда их зажало между каменистым рифом и резервуаром с водой, потом кивали с искаженными оптимизмом и притворной бодростью лицами. Брали его за запястье, притворялись, что щупают пульс, хотя слышали только свой собственный. Клади ладони на его окровавленную рубашку, прислушиваясь к ударам его сердца, но лишь для того, чтобы убедиться, что сами еще живы. Говорили с ним о том, какой уход ему обеспечат на корабле, которого они все так ждут, но лишь для того, чтобы продолжать надеяться на то, что корабль действительно придет. Их действия напоминали ему о золотом периоде его боксерской карьеры, когда он, к примеру, тремя ударами уложил трех быков на пятачке в Гадении, за что был награжден императорским орденом, удостоен речей трех бургомистров, а также короткометражек и радиопередач, мало того – в его честь назвали родильный дом! – но они делали все это не для того, чтобы облегчить его страдания, а чтобы убедить себя, что их наверняка не бросят. В такую игру играет потерявшийся ребенок, который думает, что о нем все позабыли, но отчаянно надеется, что в любую минуту за ним придут посланные родителями старшие братья и отведут домой.

Они аккуратно смачивали ладони питьевой водой, подносили пальцы к его губам, чтобы он сосал их, как теленок, засовывали черствые корки хлеба и кусочки ананаса ему в рот, потому что думали: наше милосердие спасет нас, не может мир быть настолько несправедлив, чтобы такое милосердие осталось без вознаграждения. Они смотрели, как он умирает, день ото дня все реже разворачивали обмотки на его ногах, из-под грязных повязок сочился заметный всем, кроме него, запах смерти, их милосердие теряло физическое воплощение, однако они продолжали изо всех сил утешать его.

Неумолимо идя ко дну, они смотрели, как Джимми медленно тонет, словно прогнивший спасательный круг, но слишком сильна была их трусость, и они продолжали цепляться за этот круг и думать: он тонет, потому что гниет живо, – нас же, целых и невредимых, удержит на поверхности воды одежда и сила воли, мы продержимся, пока нам наконец не бросят настоящий спасательный круг. Они не говорили о том, что именно парализованный боксер удерживает их на плаву, главное, было погромче и поувереннее произносить слова утешения, чтобы заглушить шепот внутреннего циника. Где бы мы были без умирающих, что стало бы с нашим здоровьем, если бы не больные, что стало бы с нашим счастьем без несчастных, с нашей храбростью без трусов?

Пустите, хотелось кричать ему, что вы здесь делаете, лицемеры, дождевые черви! Мои страдания принадлежат лишь мне одному, дайте мне спокойно умереть, умереть так же, как умрете вы! Почему вы сваливаете весь свой страх на меня, вытесненное понимание того, что корабль спасения, как вы его называете, никогда не придет! Но закричать ему не удавалось, поскольку он был парализован и неподвижно лежал в тени бочки с водой, у каменистого отвесного рифа, лежал, словно поверженный боец. При мысли о новом погружении в морскую пучину его охватывал такой ужас, что он изо всех сил цеплялся свободной рукой за скалу: израненные пальцы кровоточили, и вместе с кровью вытекала жизнь, изливалась из него, просачивалась на голую скалу, переводила дух, а потом заползала обратно. Он помнил, как отчаянно сопротивлялся, когда почувствовал, что скала медузой вновь присасывается к нему. Обездвиженными ногами он пытался пинать своих спасителей, когда те вытаскивали его из-под бочки и, подхватив под мышки, тащили на скалу; все тело корчилось, извивалось и билось, пытаясь вырваться, но о побеге нечего было и думать. Он обвис в их алчных руках, словно сдувшийся пакет, и дал им спасти себя, вытащить на этот жуткий остров, который, подобно человекоядному цветку, незаметно смыкал свои мягкие челюсти на горле каждого из них.

Охваченный тревогой и тоской, он птичьим взглядом заглянул в глубокий и узкий колодец мира, где горизонт отделял стену моря от стены неба, становясь дном. Если бы спасательный корабль все же пришел, все было бы потеряно и спасено одновременно, эта попытка побега стала бы наиболее жалкой из всех предпринятых им, но, возможно, так близко к своей цели он уже никогда бы не подобрался. Предательский паралич убеждал его, что бегство теперь невозможно, раз ноги отказываются нести его к глубокой яме в зарослях, подальше от этих бездельников, питающихся его болью. Смерть, думал он иногда, но паралич тут же возражал: смерть – это не бегство, не настоящее бегство, а просто продолжение последнего приступа страха. Чтобы бегство удалось по-настоящему, сначала необходимо залечить все раны. Но они тянули к нему свои когти – да-да, ногти у всех росли, и никто даже не думал пообламывать их или отгрызть – и все время сторожили его, одержимые надеждой на спасение, одержимые мыслью о его скорой смерти, ведь тогда они могли бы с полным правом сказать: он умер, потому что был болен, он был болен и поэтому умер, мы здоровы, и поэтому мы выживем, мы живы, потому что здоровы, и нам хватит сил дождаться спасательного корабля.

Неужели их сновидение было настолько плотным и непроницаемым? Он ощупывал белые стены этого склепа, чтобы найти потайные углубления или щели, но был слишком слаб, слишком парализован, слишком одинок внутри себя. Как-то утром, когда все снова собрались вокруг него и принялись докучать своей жалостью и холодным страхом, он укусил за руку капитана артиллерии Уилсона, когда тот с циничным терпением дрессировщика попытался накормить его остатками корабельных сухарей. Он вспомнил, как рука, уже умирающая рука, с израненными посиневшими пальцами, с багрово поблескивающей плотью в трещинах, искушает его, проходит у самых жадно приоткрытых губ, все время судорожно вытягивавшихся в трубочку помимо его желания. Море где-то далеко внизу напоминает гигантский черный газгольдер, песок шуршит, будто бы под ногами невидимых путников, небо холодное и голубое, словно металл, слегка прогибающийся под огромным давлением: и лишь их непоколеби-

мая сила воли становится несущим перекрытием, и только она не дает небу упасть. И в этот самый момент, как раз перед укусом, появляются белоснежные облака птиц, они будто вылетают из плеч капитана; хищные клювы, эти заостренные клещи, покрытые запекшимися каплями крови, все время направлены вниз; о какая боль – предоступить укус, который быстро и жадно отрывает его болезненную плоть от кости. Вздрогнув от ужаса, он замечает, как самовольное красное пятнышко на кончике носа капитана оживает, становясь таким же жестоким и беспощадным, как птичьи клювы, и когда Джимми медленно обводит взглядом всех стоящих в кругу, то замечает, что у каждого есть такая же кровавая стрелка, указывающая прямо на него. Напуганный, однако твердо намеренный наконец-то распахнуть потайную дверь, за которой скрываются их тайные надежды, сначала он закрывает глаза, узрев невероятное, и обнаруживает себя заточенным в кроваво-красной, покрытой сталактитами пещере, где звучит давно позабытая древняя музыка, которую так долго замалчивали; сталактиты запускают в его полуживое тело свои длинные пальцы и злобно перешептываются. Тогда, в отчаянной попытке наконец избавиться от этой жуткой компании, он напрягается всем телом, изгибается дугой, забыв о параличе, но беспомощно приподнимается только верх туловища. Бросок происходит так резко и внезапно, что он едва успевает сомкнуть челюсти на ладони капитана, чуть выше фаланги большого пальца, впивается в руку зубами что есть сил и утягивает ее с собой, когда тело падает обратно на песок.

Джимми ожидает вспышки ярости, мощного удара в челюсть, который наконец-то освободит его от всяческой обязанности хранить истину в тайне, – но лицо капитана, его нос с ненавистным красным пятнышком лишь приближаются, а кольцо ожидающих его смерти смыкается еще теснее. Моргая и странно улыбаясь, капитан медленно высвобождает руку из мертвой хватки боксера, спокойно выпрямляется, разворачивается к стоящим в кругу и прижимает пострадавшую руку к сердцу, как будто это почетная медаль, пожимает плечами с печальным видом, и всё. А потом кольцо распадается, Джимми снова пытается обратиться в бегство, но тщетно, ибо они все время возвращаются и парализуют его своим выжидающим милосердием. Страх смерти нарастал с каждым часом, но им удавалось отгородиться от этого, сидя рядом с ним, обмазав лица глиной в качестве косметической процедуры; глина застывала под лучами палящего солнца, и складки и трещины после быстрых испуганных улыбок оставались на поверхности еще долгое время: их лица напоминали ему жуткий, поверженный в руины пейзаж, некогда чудесный и прекрасный; искаженные любопытством, сморщенные от отвращения, тревожно вопрошающие, заранее празднующие победу или же просто переполненные тревогой лица приближались к нему, когда они думали, что он спал или впал в предсмертное забытие. Но больше всего ему доставалось от юной англичанки, которая прямо-таки трепетной ланью укладывалась рядом с ним и касалась его лица нежными, словно березовые листья, пальцами, пристально смотрела на него взглядом, часто застывавшим, будто покрывшееся льдом озеро в бескрайней снежной равнине белков, и с невероятной скоростью трактовала малейшие изменения его лица.

– Значит, вам хочется пить, – тут же говорила она.

– Значит, вам хочется, чтобы мы ненадолго убрали брезент.

Она говорила на его языке, медленно, гортанно, смягчая согласные, почти как негрятка. В нормальной ситуации ее поведение показалось бы милым и трогательным, но сейчас оно было ему крайне неприятно, как будто все ее действия были частью удушающего плена, в котором он пребывал. Странность этой девушки проникала под его жесткую броню сопротивления, словно вызывающие зуд песчинки, и раздражала куда больше, чем притворная забота остальных, которую было видно насквозь, ибо в этой девушке, когда она ложилась рядом с ним, он замечал почти комичную искренность, что поначалу казалось ему невероятно глупым, а потом стало до боли невыносимым; именно она не давала ему сбежать куда больше, чем все эти лицемеры. Ха, тоже мне Флоренс Найтингейл, злобно думал он и старался сделать тело

еще тяжелее, когда она своими слабыми ручками пыталась сменить тряпье, обернутое вокруг его бедер и ног. Он находил особое удовольствие в том, чтобы мучить ее, потому что она вела себя крайне неприлично, она не могла даже лгать, как ее товарищи по несчастью. Она была настоящей, то есть считала себя настоящей, и поэтому лгала больше всех остальных.

Часто она лежала рядом с ним и смотрела на величественно плывущие по небу бархатные корабли. Недавно появившиеся складки в уголках ее рта становились строже и глубже, тоненькая голубая жилка на виске, казалось, вот-вот лопнет, заледеневший до самого дна взгляд внезапно оттаивал, и она словно бы хваталась за него, хотя на самом деле лежала не шевелясь.

– Видите, – говорила она на его языке, дрожа всем телом под лохмотьями, – вот идет корабль «Тонг», и мачты его окружены туманом. Видите, вон там капитан, он стоит у фальшборта и курит – весь этот туман из его трубки. Матрос только что опрокинул ведро с паром за борт: видите ли, корабль «Тонг» идет слишком быстро! Даме с Шетландских островов в шубе из желтого тумана явно нехорошо: вон, видите, как она стоит на палубе с зловещим видом и размахивает белым кредитным письмом. Школьник, сбежавший с моей задымленной родины, только что свистнул, подавая сигнал к освобождению. Видите белую колонну, стремительно поднимающуюся с палубы, – думаете, это гудок парохода? Нет, свистит мальчишка, вот что я вам скажу, и ликованию его нет предела, и все наверняка именно так, и никак иначе!

Она все время несла бессмысленную окоlesiцу и таким образом как-то коротала время, но Джимми не собирался подыгрывать ей. Немой и обездвиженный стремлением к бегству, жаждой, голодом и презрением, он хотел прокричать ей прямо в ухо: ложь, сплошная ложь, ты напридумывала себе спасательный корабль в небе, вываливаешь на облако весь накопившийся страх, но берегись – рано или поздно страх погребет тебя под собой, ибо палуба твоего корабля ненадежна! погоди, еще немного, и я встану на ноги, паралич пройдет, и тогда меня уже ничто не удержит; я чувствую ваш страх, вы планируете заговор против меня, а я убегу, убегу туда, где уже никому будет меня не достать!

Но однажды он резко дернулся – возможно, это даже было в тот самый день, когда случилось и все остальное, ибо в основном он пребывал в темноте и забвении, а в сознание приходил на ужасающе короткие периоды. В ее манере говорить появилось нечто новое – нет, возможно, это нечто было в ней с самого начала и настойчиво стучалось в его закрытые окна, но тут он вдруг понял, что происходит. Слова, произнесенные мягким гортанным голосом, исполненным благородства тоном, внезапно обрели совершенно иной смысл. Оказалось, что даже едва заметные подрагивания крыльев носа, покрытых паутиной голубых венков, тоже что-то означают. С полуприкрытыми глазами он лежал на земле, притворяясь, что ничего не слышит и не видит, но на самом деле с болезненной внимательностью наблюдал за каждым ее действием. Сначала Джимми чувствовал себя неловко, но затем преисполнился отвращения и отчаяния, поняв, что за каждым ее жестом, за каждым словом, подобно сигналу SOS, сквозила любовь к нему. Она сидела вполоборота: он едва видел ее профиль, но все равно замечал, как мышцы лица подрагивают от непреодолимого желания обернуться и разрушить все преграды, отбросить всякое стеснение.

– А теперь я стою на верхней палубе с белой сумочкой в руках, корабль «Тонг» уже давно несет меня по волнам, а я расхаживаю по палубе взад-вперед, как бесприютный призрак, и с нетерпением жду своего знакомого. Я все хожу и хожу, мы минуем Антильские острова, проходим вблизи Исландии и Гебридов, и туман, все время туман, понимаете, все время туман, а у нас только карты, и больше ничего. И вот я стою на верхней палубе и не знаю, что делать. В пути нам встречаются другие корабли: маленькие круглые шлюпки, окутанные пеной сигарного дыма, и китобои, все еще окруженные последним издыханием уже мертвого туманного кита. Я грустно подмигиваю им, но они меня не видят, потому что я одна, совсем одна. И тут приходите вы. Видите, вон там вы выходите на капитанский мостик: вы наверняка искали меня, и я, Кассандра, бросаюсь вам навстречу, чтобы рассказать обо всем, что с нами будет

дальше. И тут происходит катастрофа – оттуда, сверху, вам, наверное, все видно – я так обрадовалась, увидев вас, что выронила сумочку, которую не выпускала из рук с того момента, как мы вышли из гавани; она скользит по влажной палубе, никаких ограждений нет, сумочка открывается, и все содержимое в один момент оказывается в море. Вам, должно быть, видно, как все вываливается в море, потому что на нас медленно опускается туман, как от пожара, ведь в моей сумочке был только туман. Какой же вы злой.

О, как бы он хотел иметь здоровые ноги, которые унесли бы его прочь от этих коварных и, что самое ужасное, совершенно искренних разговоров, опутывавших его стремление к бегству невидимыми туманными нитями. Но он был парализован, пусть и временно; постоянно усиливалась боль в груди, в щиколотках, в артериях и в висках, и он ощущал паралич всякий раз, когда пытался повернуться на сухом песке, печально постанывавшем в ответ из-под брезента. Ему приходилось оставаться и постоянно убежать – неразрешимая дилемма паралитика. Нужно прогнать ее, ту единственную, которая без малейшей задней мысли своим искренним желанием, чтобы он продолжал жить, вынуждала его оставаться, лишала его возможности бегства, а он, он не хотел убеждать в том, что бегство – штука совершенно бесполезная, не хотел убеждать в том, что когда-то в его жизни было то, что заставляет оставаться. Остановить бегство, которое уже началось, – ужаснейшая затея: моменты промедления каменными жерновами повисают у беглеца на шее, все, от чего так хотелось убежать, набрасывается на него, подобно своре коренастых, скалящих зубы псов, топчется у него на животе и рвет на части задыхающееся тело, пока не выпустит кишки наружу.

– Если ты думаешь, что я могу полюбить тебя, то серьезно ошибаешься, – прошептал он ей тихо-тихо, чтобы никто не услышал. – Я лежу здесь и гнию заживо, и тебе это прекрасно известно. Ведь это настоящая пытка – ты выбираешь меня, именно меня, неспособного сдвинуться с места, меня, неспособного даже справиться нужду, не причинив себе и вам массу неудобств! Чего бы тебе не пойти к здоровяку-капитану, у него потенции хватит на всех нас! Прошу, спрячь меня от всех этих взглядов, и прежде всего – от своего, заверни меня в брезент, как заворачивают в саван умершего, а потом изо всех сил колоти по невидимому телу кулаками, ведь я уже не сопротивляюсь, я уже не жилец, и ты это наверняка понимаешь.

Против его воли взгляд тут же взлетел вверх, минуя огромную, неимоверно гладкую поверхность моря, и наткнулся на белые яхты полуденных облаков, величественно плывших к горизонту. Ее же взгляд упал вниз, и он наблюдал за тем, как лед со всех сторон окружает острова ее зрачков, как по лицу проносится пронизывающий холодом ветер и черты застывают, словно пейзаж где-нибудь в тундре. Англичанка, завернутая в грубую ветошь и похожая на мумию, медленно поднялась на ноги, и в тот же момент из глубины острова раздался вопль, довольно громкий, резкий, но крайне непродолжительный – кричал ли то человек или зверь? – но девушка ничего не слышала. Просто четыре раза ударила его тыльной стороной загорелой и шершавой от песка правой ладони по скуле и носу, ударила вяло и лениво, навеки застыв в своей боли: казалось, будто руку случайно поднял труп или вдруг пошевелился памятник, – и на этом всё.

Неподвижными шагами, поразительно похожая на статую, она направилась к огню, не замечая, что тряпки, обернутые вокруг правой израненной стопы, постепенно размотались и волочатся за ней, словно истекающий кровью взорванный бронепоезд, подошла к костру и медленно осела на песок. На берегу больше никого не было, как будто они остались одни в целом мире: только птица кружила над струйками дыма и беззвучно раскрывала клюв, словно бы что-то бросая в огонь. На скалах глухо стучали хвостами ящерицы, из расположенного на возвышении леса слышались чьи-то настойчивые крики – наверное, кричавшего все еще пытались найти.

Ее удары помогли Джимми одержать победу над внутренним параличом: мир снова обрел четкие очертания, присущее ему зло ясно обозначило свое присутствие, и вот что удивительно

– с каждой секундой яма в высокой траве, шуршавшей где-то далеко над ним, рывками приближалась. Мышцы размягчились под руками веселой невидимой массажистки, и теперь ему не хватало только последней капли злости, которая выдернула бы его из дремы и одним броском переместила бы его тело на оставшиеся несколько шагов. Всю ночь и весь день он пролежал один: все покинули его, притворяясь, что не замечают, – судя по всему, они приняли решение дать ему спокойно умереть, что вполне совпадало с его собственным намерением, ведь бурлящая внутри них злоба многократно повышала шансы на побег.

Внезапно на остров пришла ночь, черная и беззвездная, над морем словно проблески маяка время от времени вспыхивали белые крылья птиц, волны прищелкивали огромными языками и жадно чавкали. С наступлением темноты немые птицы будто бы обретали голос – или же голоса звучали у него в голове? Тишину изредка разрывал надрывный, сдавленный гортанный звук: птицы говорили сами с собой, а не друг с другом. Песок внезапно снова стал влажным, будто кто-то быстро лизнул его языком, остров сковали доспехи холода, в небе на неприятной высоте вспыхнули звезды, но тут же перестали мерцать, своей неподвижностью напоминая застывшие зрачки только что умершего человека.

На рассвете произошло нечто удивительное – спавший рядом с боксером Лука Эгмон со стоном встал и утопил свое притворное милосердие, выпустив из бочки остатки пресной воды. Какую же благодарность Джимми испытал к нему за этот поступок: еще один швартовочный конец обрезан, и теперь можно воздушным шариком взмыть вверх в тишину и одиночество. Болезненное наслаждение растеклось по конечностям, паралич, как уже говорилось, отступил, и вот Джимми бежит. Быстрее ветра он несется сквозь утро, стопы клавишами печатной машинки бьют по чистому листу песка, постоянно омываемого прибоем, и вот солнце уже светит ему в спину, море еще не плавится под знойными лучами, бескрайняя голубая гладь еще подрагивает после ночного холода, как спина нетерпеливой скаковой лошади, дельфины молниями взмывают над линией горизонта. Зеркально гладкая поверхность лагуны отражает все детали его побега, на брюхе рифа еще постанывает корабль с переломанным позвоночником, влажно поблескивающие водоросли, как внутренности, вываливаются из пробоины в борту, наполовину разбитый иллюминатор рыдает потоками тьмы, извергая ее в светлую воду. Где-то наверху из травы снова поднялись в воздух птицы: стая держалась вместе, на расстоянии вытянутого крыла, и бесшумно парила над лагуной – раздавался лишь тихий шелест крыльев, будто кто-то негромко читал книгу, – ее отражение воздушным мазком невидимой кисти легло на воду и поплыло к кораблю: там птицы резко опустились. Пьяно пошатываясь, они шествовали по кормовой части палубы, а потом, одна за другой, исчезали в чреве корабля, прыгая в люк. Как просто было бы сейчас добежать до нужного места на побережье, добраться до рифа, залезть на корабль, заколотить люк досками или затянуть брезентом, а потом просто поджидать птиц у иллюминаторов и оглушать их при попытке бегства – тогда безопасность провианта была бы обеспечена.

Но опьяненный бегством Джимми, не раздумывая, идет поверху и перемахивает через скалу, с хрустом давя ногами шкурки ящериц. Снова став хозяином самому себе, он даже не удивляется, что острые камни не доставляют ему ни малейшей боли, что ящерицы прыскают в разные стороны при его приближении, царапая камни длинными шершавыми хвостами.

Что же заставляет его бежать? Мало ли у людей причин для бегства... Джимми Бааза всю жизнь заставляло бежать одно-единственное воспоминание, всякий раз причинявшее ему боль. Иногда ему снилось, что кто-то загнал его на самый верх огромной лестницы, и теперь он просит пощады и умоляет о спасении, но во сне лестница всегда совершенно жалким образом шаталась и падала, и он снова оказывался в липких объятиях болота. В других снах он пытался убежать из этого воспоминания по длинным улицам, но, подобно американским горкам в парке аттракционов, тротуар вдруг изгибался и начинал нести его в противоположном направлении, и его неотвратимо затягивало обратно. Он напрягал все тело перед решающим

броском в отчаянной попытке выбраться из стальной хватки улицы, но та лишь сильнее сжимала его в своих кольцах. Беспомощным кулем он оседал вниз, запутываясь в красных нитях собственного страха, просыпался в холодном поту, а потом несколько часов не мог до конца выпрямить сведенные судорогами конечности. Мышцы болели еще долго, удары становились глухими и незаконченными, левый хук беспомощно отскакивал обратно, даже не попав в цель. Из страха, что сновидение снова настигнет и обездвижит его, накануне важных поединков он делал себе сильнейшие инъекции, которые быстро опускали его на самое дно забытья. Но если ему случайно удавалось избежать ночных кошмаров, они начинали происходить наяву: за ним следили странные люди, они проходили мимо него на улице, вызывая непонятную тревогу; на некоторых улицах он вдруг замечал отвратительный запах, а если пытался держаться широких, ярко освещенных проспектов, где люди на бегу пихали визитки в его знаменитые кулаки, то за ним обязательно начинала ехать какая-то странная машина или же увязывалась какая-нибудь бродячая собака с неопределенными намерениями – земля уходила у него из-под ног, и он снова падал на дно глубокого колодца страха.

На вершине своей боксерской карьеры, на верхней ступеньке той самой лестницы, он страдал от высокомерных преследователей ничуть не меньше. Теперь у него было все, чего только душа может пожелать: подаренный государством дом у озера, кишевшего лососем, ослепительно-белая вилла, купол, украшенный государственным гербом, вокруг метры колючей проволоки, как положено видным государственным деятелям, но что с того, если под конец он стал бояться выйти за порог, если каждый порыв ветра над огромным озером приносил с собой запах безжалостного преследователя. Когда он решил опробовать новую лодку, порывы ветра хлесткими ударами довели его до безумия, лодка села на мель и затонула. Как просто было бы взять и умереть, но он все-таки с готовностью дал себя спасти, потому что в последние секунды борьбы понял, что для того, кто все время проводит в бегстве, смерть ничем не отличается от жизни. Огромный плот отчаяния не дал ему пойти ко дну.

К Джимми пришла такая слава, что от него уже никто ничего не ожидал, его звезду надежно приколотили к тверди небес, больше не надо было боксировать – нет-нет, это могло даже повредить его репутации, ведь теперь он выступал исключительно на масштабных мероприятиях для их величеств, выходя на поединок со знаменитыми, но, конечно, не настолько знаменитыми, как он, боксерами, с молодыми бычками, которые перед поединком проходили тщательную подготовку, а потом внезапно падали на ринг от его неуклюжих ударов в строго назначенное время, словно гербы, срываемые со щитов при лишении дворян титула. Забравшись в пещеру, куда его привело бегство, он неожиданно обнаружил, что здесь еще небезопаснее, а ведь это был уже конечный пункт. Система бегства состояла из восемнадцати соединенных между собой пещер, и, дойдя до самой дальней, он словно одержимый бросался на каменные стены, чтобы пройти еще дальше, но тщетно, а если решал повернуть обратно, вход в последнюю пещеру вдруг закрывался, и он, запертый в сейфе, где народ хранил своих героев, бежал, будто белка в колесе, из партера и с галерки раздавались аплодисменты, иглами пронзая его мозг, сердце, почки. Он чувствовал себя парашютистом, с нетерпением ожидающим того момента, когда люк наконец откроется и последует быстрое падение в обитель боли, в зеленое болото воспоминаний, где липкая гнилостная волна сбивала его с ног, забивалась в глотку, плескалась в легких, укачивала его распухший труп в объятиях вечности, и здесь, внутри этого кошмара, даже самые жуткие варианты казались райскими – все, что угодно, лишь бы избежать этой пытки. Единственным путем к спасению представлялся позорный провал на ринге, но как, если любая ошибка с его стороны всегда трактовалась как проявление величия?

И тогда он предпринял жалкую попытку открыть наглухо задранный люк собственными руками. На одном из гала-концертов, когда сидевшая в ложе императорская семья бросала на сцену серебристую мишуру в его честь, он внезапно рухнул навзничь, сжав голову в ладонях, словно экзотический фрукт. Побледнев от волнения, юный боксер, сваливший чемпиона,

попятился к краю ринга, в ужасе таращась то на поверженного противника, то на собственные руки, словно боясь увидеть на них кровь. Красная лампочка над рингом тут же потухла, и на сцену осквернения святыни пролился приглушенный серо-зеленый свет. В ожидании свиста и воплей неоправдавшихся надежд Джимми застыл в судороге, шея немного подрагивала от страха перед острым лезвием гильотины, но на самом деле он ждал, когда люк наконец откроется, с таким спокойствием, какое возможно, лишь когда человек уже миновал крайнюю степень отчаяния. Раздался приглушенный шелест тысяч выпавших из рук зрителей пакетиков с конфетами, зал прозрачной, почти хрустальной пленкой затянула тишина, и тут из-за кулис вышел мужчина в белом халате и сдавленно прокричал, словно священник на похоронах: он болен, он внезапно заболел, предлагаю всем встать и воздать павшему почести! Оркестр заиграл патриотичную мелодию, Джимми аккуратно подхватили за руки и за ноги, следя за тем, чтобы он ни обо что не ударился головой, и под ритмичную музыку торжественно унесли с ринга.

Беспомощно повиснув у них на руках, он понял, что из этого бегства сбежать уже невозможно. И в этот самый момент, когда занавес за ним закрылся, раздался восторженный рев на четыре голоса: толпа редела в его честь, в честь вечного победителя, способного завоевать все, что угодно, кроме поражения. О как он хотел вырваться из шестнадцати липких рук, выбежать на сцену и проораться от боли, мощным фонтаном выплеснуть свою тревогу и затопить ею весь мир, но смог лишь дернуться в жалкой предсмертной судороге, после чего носильщики ухватили его покрепче.

Итак, он получил свой билет на корабль именно благодаря внезапной болезни и теперь бродил по восточным портовым районам, наслаждаясь тем, что здесь его никто не узнаёт, и направленными на самого себя потоками презрения и отвращения. Разумеется, остаться в полном одиночестве ему все равно не удавалось, ведь у государства везде были невидимые шпионы, на расстоянии следившие за каждым его шагом, но даже такое подобие одиночества оказывало на него благотворное влияние. Иногда он опускался на мостовую, рядом с плетеной корзиной заклинателя змей, крепко зажмуривался, отгораживался ото всех посторонних звуков, кроме бархатистого шуршания, доносившегося из корзины, и думал: теперь я просто татарин, лежу здесь на жаре, вдали от родины, к которой меня приковывает лишь цепь загнанных лошадей. Или молча ложился на дно прогулочной лодки с парчовым навесом, вроде той, на каких ходят по морю жители Белизии, и просто качался на волнах небольшой бухты, рядом с баркасами, груженными серебристыми фруктами, от которых исходил странный аромат кумина и отчаяния, и петлявшими под радостные крики лодочников между плотами с жертвенными животными. В мутной желтой воде плавало множество трупов лошадей, а на берегах, промеж усыпанных обезьянами деревьев, стояли глиняные истуканы, раздавалась незатейливая музыка, мерный лавандовый бой барабанов разносился над наполовину погруженными в вязкий ил коричневыми хижинами, стены которых были изрешечены выстрелами во время последнего мятежа. Однако со дна лодки было видно только чистое небо, натянутое шелковым шатром над водой, да множество изорванных в клочья струек дыма от костров на кедровых вырубках. И тогда он думал: ведь я всего лишь утопленник, которого решили четвертовать посмертно, я буду вечно качаться на этих волнах, и труп мой никогда не опознают. Эти мысли дурманили Джимми голову, и он переставал чувствовать боль, каждый очередной толчок прибой приносил все больше спокойствия, а от мягких ударов при столкновении лодки с трупами утонувших животных по телу разливалось приятное тепло, жизнь казалась сонной водной гладью, куда он упал, словно капля дождя, раньше срока пролившаяся из тучи. Как же прекрасно наконец перестать сопротивляться и стать единым целым с водой...

Потом настал сезон штормов, струйки дыма живо и бойко затрепетали на ветру подобно знаменам повстанцев, а обитатели хижин перешли к забою скота. Орущих животных, которых до этого держали в кедровой роще, повели домой, на рогах быков висели полуголые мальчишки

и пытались громкими криками вернуть чудную летнюю пору, но напрасно. Вскоре багровые клубы дыма от костров страха появились над каждой хижиной, резкий запах пропитал всё вокруг – деревья и людей, которые редко выходили за порог, зажимали уши руками, увидев чужестранцев, а потом с криками скрывались из виду.

Пришло время покидать это место. Да, пора! В унылый ветреный день на потрепанной штормами гребной лодке Джимми пошел вдоль побережья, оставляя позади пугающие белые песчаные косы, словно тире, соединявшие сушу с морем. Путь занял трое суток, тяжелее всего было ночами, когда его одолевала странная тревога и ему мерещилось, что он оказался в чреве морского чудовища. Нанятые гребцы загробно молчали, ритмично мелькавшие в темноте белые предплечья делали их еще больше похожими на мертвецов. Он упал на колени у борта, принялся зачерпывать тихую морскую воду и пить, пока язык не стало жечь от соли. Успокоившись, он опустил на дно лодки, однако со старыми мечтами о том, как незаметно для всех, и прежде всего – для себя самого, медленно укачиваясь, погрузиться в вечное молчание, было покончено.

В столичном городе Ронтоне он сказался больным и сел на небольшое судно, управлявшееся в увеселительную прогулку к небольшому, удаленному от материка архипелагу за Мостровами. Корабельный врач быстро поставил его на ноги, сделав небольшое кровопускание, и вскоре Джимми, спрятавшись под случайно выбранным псевдонимом, опять обрел подобие душевного покоя, как и после отдыха в Белизии. В последний день, проведенный в тесной одиночной каюте для больных, он попросил принести зеркало и в струившемся через иллюминатор зеленоватом свете долго рассматривал свое отражение. Неужели даже лицо изменилось, неужели он стал другим человеком – человеком, ранее не существовавшим, но в муках появившимся на свет на дне длинной узкой лодки, лавировавшей между трупами животных в портовых водах? Неужели действительно возможно родиться заново, сбросить с себя ненавистную личину, носить которую больше нету сил? Как же он надеялся на чудо превращения!

С высокомерной радостью он заметил, что остальные пассажиры относятся к нему с полным равнодушием, явно ни о чем не подозревая, потому что бесконечная красота окружающего мира, наполненный светом и лазурью колодец моря, тончайшая, словно волосок, линия горизонта, эластично выгибающаяся и прогибающаяся в такт движениям моря, и парившее, будто воздушный шар, жемчужно-желтое небо погружали каждого в переживание одиночества и начисто лишали желания пытаться узнать друг друга поближе. Лежа на корме в тени шлюпки, он, разумеется, слышал чьи-то разговоры, заразительный смех, попугая, повторявшего разные слова вслед за коком, но все это никоим образом его не касалось, и на него опять снизошел приятнейший покой. Прошлое не беспокоило Джимми даже во время совместного ужина: за столом если и говорили, то разве что о событиях очередного дня на пути к цели путешествия: из глубины, сверкнув плавниками, выпрыгнула на мгновение невиданная доселе рыба; алеющая звезда следовала за ними целый день, отражаясь на водной глади; на горизонте кто-то заметил другой корабль.

Они медленно приближались к пункту назначения, храбрый парходик, совсем не похожий на быстроходные лайнеры, встречавшиеся им в начале путешествия и не решавшиеся уходить так далеко в открытое море, упорно продвигался вперед, напоминая бывалую рабочую лошадку, упрямо бредущую в гору, изо всех сил напрягая спину на подъеме.

Как-то раз Джимми лежал на палубе, прикрыв глаза рукой, и вдруг ощутил на себе чей-то пристальный взгляд. Он быстро открыл глаза и огляделся, но рядом не было никого, кроме худенькой и мерзнувшей даже в жару английской мисс, которая стояла, облокотившись на борт, и очень внимательно рассматривала его, прямо-таки сверлила взглядом. Он сразу понял, что все пропало, но, дрожа всем телом, все-таки посмотрел на нее. Не выдержав напряжения, она будто засомневалась, отвернулась, споткнулась о какую-то деревяшку так, что та отлетела, чуть не задев Джимми, а потом медленно прошла через всю палубу к капитанскому мостику.

Снова закрыв глаза, он с притворным спокойствием принялся крутить в руках веревку, туго затягивая ее на запястье. Так он пролежал весь день: быстрый стук поршней в машинном отделении заставлял пульс учащаться, но, когда боль подступала слишком близко, он затягивал веревку на запястье еще туже, готовый придушить боль, если та все же осмелится прийти к нему. За ужином его била нервная дрожь, кусок не лез в горло, на обращенные к нему участливые вопросы он отвечал сердито и односложно. Наконец принесли десерт, английская мисс задумчиво покрошила корабельные сухари в сливки, а потом медленно подняла взгляд на боксера и быстро произнесла, почти не шевеля напряженными губами, как положено дочери полковника армии колонизаторов, которой она, вполне возможно, и являлась: «Боксер Джимми Бааз, это ведь вы, не правда ли?»

Что же он мог ей ответить? Он взвился вверх, опрокинув стул, хотел было откреститься, сказать, что о таком и слыхом не слыхивал, но внезапно его будто придавило к земле какой-то грубой силой, и он замер, уже не пытаясь сопротивляться безжалостному давлению на все части тела, будто сведенные судорогой, не пытаясь проглотить комок в горле. Ему отчаянно хотелось во весь голос заорать: «Нет, это не я!» – но все звуки, кроме жалобного писка, исчезли, он оказался на всеобщем обозрении, словно мишень для стрельбы из лука, и медленно опустился на стул.

– Да, – прошептал он, пытаясь продолжать, – да-да.

Теперь все было потеряно. Путешествие утратило смысл, а сам пункт назначения никогда смысла и не имел: Джимми относился к тем путешественникам, которые отправляются в дорогу, втайне надеясь никогда не достигнуть цели, он был из тех, кто уезжает просто ради того, чтобы уехать, – нам хорошо известен такой типаж. Теперь попутчики тут же сжали его в кольцо, облепив, словно полипы, и бегство потеряло смысл. Они постоянно ходили за ним на палубе, по-своему проявляя уважение к его инкогнито, долго сидели рядом и молчали, будто наслаждаясь, высасывали его молчание жадными ртами. По ночам Джимми трясся в лихорадке, мечтая снова оказаться в Ронтоне, страдал от мерных ударов поршней, мешавших ему спать, а если заснуть все-таки удавалось, то ему снилось, что он – огромный великан, в резиновых сапогах идущий по морю рядом с кораблем, который во сне всегда оказывался колесным пароходом; великан брел рядом и мизинцем крутил колесо с бешеной скоростью. В отчаянии он просыпался от грохота из машинного отделения и вялых шлепков ночных волн по иллюминатору. В ночь накануне кораблекрушения он вскочил с койки, выбежал на палубу как раз в те скоротечные предрассветные часы, когда облака стремительно несутся по небу. По морю расплескалась белизна, линия горизонта будто воспарила между водой и небом, потом приблизилась, и тут невидимая рука затянула ее, словно веревку, и у Джимми застучало в висках. Он бросился на палубу, на свое место под шлюпкой, и рассеянно, поначалу даже не заметив этого, принялся крутить в руках деревяшку, отлетевшую в его сторону из-под ног англичанки. Дрожа от пронизывающего ветра, он слышал, как пробили склянки, как в машинном отделении все стучало и звенело, а в каюте кока хлопал крыльями попугай.

Он ощутил на пальцах тугую веревку и медленно протянул ее по груди к подбородку, поднял прямую правую руку вверх и с ужасом посмотрел на веревку – в этот момент он впервые увидел в ней нечто такое, отчего запаниковал, перевернулся на живот и принялся колотить руками и ногами по палубе словно одержимый. Веревка свернулась в клубок прямо перед ним, – нет-нет, ему никуда не деться от этого красного цвета, протыкающего тело тысячами невидимых лезвий при каждом ударе пульса, – и наконец, беззвучно взыв, он пулей вылетел в космос, где его с безжалостным чавканьем снова накрыло зеленой волной тошноты. Он бегал по палубе с носа на корму и обратно, никого к себе не подпускал; англичанка, глядя умоляющими глазами, несколько раз пыталась встать у него на пути; капитан артиллерии с огромным боксером, который, кстати, впоследствии утонул, топал сапожищами по корме и в шутку науськивал пса на Джимми, но тот не замечал никого вокруг.

Когда начался шторм, им показалось, будто на западе, на горизонте, возникла гигантская птица и взмыла вверх; взяв курс на корабль, она все быстрее и быстрее взмахивала мощными серебристо-серыми крыльями, а под ней, словно ягненок в когтях у орла, висела свинцовая туча, спешившая накрыть их собой и разорвать в клочья. Прежде чем начать задыхаться, они успели увидеть покрытое белым пухом, вертикально уходящее в воду правое крыло, и тут его будто бы пробило пулей и из раны потекли кровавые реки. Все, что находилось под гигантской птицей, вдруг показалось мелким и жалким: их страхи и надежды, радость, боль, злоба и все особенные события. Они пытались прятаться друг за друга в сотрясающейся кают-компании, стены скрипели, люди с ревом и воем кричали о вещах, о которых раньше говорили разве что шепотом, верный боксер капитана и слабоумный малолетний сын мадам забились под трап и тряслись от ужаса, прижавшись друг к другу. Только Джимми, полный всепоглощающего отвращения, катался по полу своей каюты в полном одиночестве.

Катастрофа стала для него спасением. Да-да, скажу вам без тени лицемерия, кораблекрушение спасло его от самого страшного – и вот одним прекрасным ясным утром он бежит по острову, еще несколько скал, и он достигнет вожденной ямы, и она примет его в свои объятия, и все так просто, совсем как в детстве, совсем как на площадке для игры в крокет, где каждые воротца услужливо подставляют себя с шуршанием катящимся в их сторону мячам. Солнце уже отпустило в небо связ-ки красных шаров, желтый металлический диск, от которого по-прежнему веяло ночным холодом, уже оторвался от моря и приподнялся на пару дюймов над горизонтом, заросли кустарника, стремительно приближавшиеся к Джимми, слабо шелестели от легкого, прохладного ветерка, равнодушно вырывавшегося из полуоткрытых губ моря, а за кустами, хоть он этого еще и не видел, сонно шуршала трава. Он бежал с поразительной легкостью, идеально отточенными движениями ступни отталкивались от земли и подкидывали его вверх, словно резиновый мячик; он не обращал ни малейшего внимания на снующих мимо ящериц, телом прокладывая себе дорогу, ветки услужливо расступались, как вода перед ныряльщиком, и вот Джимми уже в высокой траве.

Потрясенный, он на мгновение замер, будто бы попав в совсем другой мир: казалось, сам воздух пахнет свободой, насыщен собственным теплом и незаметно проникающими в ноздри ароматами. Метелки тростника выше человеческого роста плотно смыкались далеко наверху, пропуская редкие лучи света, струившиеся на землю прохладными ручейками; теплые тени собора ласково ложились ему на плечи, и он опустил на землю, до сих пор не в силах осознать, что произошло. Ветер усилился, но Джимми ничего не почувствовал – просто заметил, что трава, где-то там в вышине, закачалась сильнее, подставляя солнцу туго натянутую поверхность, а белые бабочки с красными полосками на левом крыле дрейфовали на зеленых волнах, словно спасательные шлюпки. Он лежал так, как лежат на дне моря, где уже нет ни боли, ни обжигающего тела холода, ни удушающей жары, ни перехлестывающей через край ненависти, ни цепляющейся когтями за последнюю соломинку любви, ни разрывающей на части тоски.

Он пошарил пальцами по земле – ровной, твердой и еще немного влажной после ночи, – сдавленно вскрикнул, наткнувшись на преграду, посмотрел вниз, огляделся по сторонам и с равнодушным удивлением обнаружил, что лежит на дне ямы. Края оказались идеально гладкими, словно стекло, а дно – мягким, как перина; у ног колыхались облачка молодой травки, а сверху, из-за гигантских стеблей тростника, с равномерными промежутками приходили невидимые волны зноя, подобные спокойному, горячему дыханию великана. Оттуда струился умиротворяющий церковный свет, бликами играя на острых, словно раковина устрицы, краях ямы, – да, достойная яма для вечности. Он долго-долго лежал на спине, даже не думая о том, чтобы пошевелиться; бабочки роскошными яхтами беззаботно покачивались на волнах травяного прибоя, под самой поверхностью зеленого моря ветер носил крошечных, похожих на крылатые торпеды насекомых, испускавших тонкие струйки липкой жидкости.

Внезапно наверху, в медленно раскачивающихся метелках вечности, что-то зловеще сверкнуло – Джимми, конечно же, все видел, но притворился, что не заметил, попытался стереть увиденное из памяти: положил руки под голову, будто устраиваясь поудобней на подушке, и крепко зажмурился. Но даже сквозь опущенные веки ему показалось, что он видит, как паук приближается все ближе и ближе; желтоватая паутина едва заметно раскачивалась между ворсистыми стеблями травы; растопырив во все стороны мягкие когтистые лапы, паук пытался обнять весь земной шар, крупное красное тельце злорадно подрагивало от животной тоски, животной боли и какого-то почти человеческого отчаяния. Джимми резко вскрикнул и дернулся, пытаясь выбраться из глубокой ямы; дрожь прошла по его телу, как кровь по набухшей вене. Неспособный пошевелиться, он смотрел, как над ним лениво покачивается огромное тело паука – да, вот именно эта лень и пугала его больше всего – на расстоянии всего лишь ладони от его лица. Абсолютно беспомощный, он был отдан на произвол чудовища, невероятное напряжение разрывало мышцы его искаженного страхом лица, никогда еще он не чувствовал себя настолько обнаженным, лишенным последних остатков с таким трудов возвращенного себе достоинства, – оставалось лишь ждать, пока паук упадет. Время тянулось невыносимо медленно, вся суть мучений, их жемчужная сердцевина, состояла в бесконечном ожидании, и вскоре отвратительное касание паука стало казаться ему долгожданным освобождением.

Духоту нарушил внезапный порыв ветра, паук пролетел прямо над лицом Джимми, на лету до крови рассадив ему левую щеку острым когтем, и совершенно бесшумно приземлился на левый край ямы, беззвучно стукнувшись о тишину. Тяжелое тело паука скукожилось и замерло; подкарауливая неподвижную добычу, чудовище отвратительно быстро изменило цвет с бордового на иссиня-черный и обратно; танцевавшие в траве тени словно бы заахали от ужаса, касаясь монстра; заметалась туда-сюда случайно залетевшая в яму бабочка, а потом стала неумолимо опускаться вниз, будто крылья налились свинцом.

Тогда паук бесшумно скользнул вниз с края ямы, пронесся мимо Джимми, протянул первую нить над его ртом, с невероятной скоростью сплел красную паутину прямо над его лицом и улегся в самый центр, жирный и полностью уверенный в своей победе; от его сытых довольных покачиваний паутина натягивалась и провисала, как будто мало было самого ее существования. Скорей бы она порвалась и липкой сетью облепила ему лицо – он предпочел бы смерть от медленного удушья этому бесконечному кошмару!

Но чудовище дразнило его, спокойно лежа в самом центре и едва заметно покачиваясь, будто хотело, чтобы его вид запечатлелся в памяти пленника навсегда; и тут Джимми внезапно прозрел, прозрел, словно все это время был слеп: глаза налились кровью, им овладела паника, настолько сильная, что он закричал и принялся звать на помощь. Полные отчаяния слова срывались с его губ и изо всех сил натягивали паутину, но тут же падали обратно гладкими и холодными монетами. Он так мучительно избавлялся от всех связей с другими людьми, что теперь их было уже не вернуть – теперь он навеки обречен лежать в одиночестве, распластавшись под жуткой паутиной.

Дно ямы резко ушло вниз, Джимми стал опускаться еще глубже, и паук уже казался ему крошечной виноградиной, когда паутина наконец лопнула и стала медленно падать на него. «Глубже, глубже!» – в отчаянии кричал он, и падение набирало скорость; жуткие узоры паутины отбрасывали тени на серебристо-серое устье могилы, и наконец, сделав последний жалкий рывок, Джимми сорвался вниз и, пролетев через наполненные болью годы, упал на дно, где царил слепота.

И вот он снова, после всех этих лет, проведенных в бреду, стоит на коленях у каменных стен казармы. Они жили в порту, рядом с заброшенными грузовыми судами, давно разграбленными местными жителями, – ни один кучер не осмелился бы отправиться в эти кварталы, где люди голодали так, что лошадь убили бы и растерзали при свете дня; трамвайные рельсы давно заросли травой, тощие портовые крысы расплодились и вконец обнаглели, обстрелы с моря с

каждым днем длились все дольше и дольше, поэтому иногда по утрам дети брали в руки пустые корзины и послушно шли за своими матерями к казармам на вершине холма. Скрючившись и прижавшись к холодной длинной стене, они дрожали и смотрели прямо перед собой пустыми глазами, не обмениваясь ни единой улыбкой, ни единым словом, ни единым взглядом, давно оставив попытки понять, что означает весь этот безумный хохот и жуткие стоны, доносившиеся из казармы. Когда мать впервые вышла оттуда, хватаясь за стену, чтобы не упасть, он жадно выхватил у нее корзину, набитую солдатскими припасами, и крикнул:

– Они тебя били, мама?

– Нет, не били, не били, сынок! Просто гладили.

Игры у них в детстве были мрачные: с серьезным, обиженным видом они камнями перебили все окна в кабинах подъемных кранов и могли часами сидеть на хребте крана, скрючившись в одинаковых позах, и воображать, будто их город осаждают крысы. Однажды утром рядом с тем местом, где его отец-контрабандист оставлял лодку, дети обнаружили продолговатый, вертикально привязанный к столбу сверток. Словно стая чаек, они сгрудились вокруг парусинового пакета, облепили столб, робко дергали за концы красной веревки, плясали вокруг находки, как индейцы-дикари. Июльская жара свинцовым обручем сдавливала голову, и на следующий день от свертка стала исходить непонятная вонь; дети дежурили возле него на набережной, поджимая губы, словно старички, а потом подъехали патрульные на броневике, разрезали веревки, вспороли белый сверток, и на дорогу вывалился голый труп. Дети расхватили обрывки веревки на сувениры и с воплями разбежались по домам.

На кухне дома у Джимми было странно и страшно. Отец лежал на полу, притворяясь, что спит, хотя на самом деле был просто пьян; голая грудь исцарапана, на веревке над плитой сохнет рубашка. *На веревке над плитой сохнет рубашка* – Джимми не надо было даже смотреть на обрывок веревки, лежавший у него в кармане. Он побежал по крутому склону к казарме, все было предельно ясно, отчаянно ясно, безнадежно ясно, вот тогда и началось то самое бегство, которому никогда не настанет конец. Юность он провел с согнутой спиной, все навалилось на него разом: суровая жизнь в казарме, ненависть голодающих и презрение сытых к солдатам, когда тех выгоняли убирать улицы, – он слишком хорошо знал, как унижительно бегство. В решающие моменты вокруг его ног всегда обвивалась красная веревка, приходилось постоянно изобретать новые способы бегства, паника делала его бесхребетным и лишала силы воли, сомнительным образом построенная карьера стала лишь очередным способом бегства, и все равно он раз за разом оступался и падал в трясины воспоминаний. Зачем нужна эта жестокость, ну зачем?! Он никогда не мог этого понять. Да и как тут поймешь, когда все вокруг тоже спасаются бегством?

И тут дно снова дернулось вверх, словно пол лифта; красный паук нацелился на жертву, раскачиваясь в темноте ровно над ее лицом. Все растрченное время, все упущенные возможности, все эти годы, что Джимми оставался глухим и не слышал зова правильного действия, неумолимо приближали его к паутине. Жестокие когти, волосатое тело, все вокруг захлестнуло волной тошноты и затянуло кровавым туманом. А дальше – падать, падать, падать и, наконец, перестать быть.

День. Голод

Рассказывать о том, как на острове наступал день, можно бесконечно. Сначала над горизонтом на востоке поднималась похожая на посеребренную с внешней стороны подкову дуга, легонько прижималась к солнцу, на мгновение обрамляя его, словно плющ деревенскую калитку, а потом, как заправский акробат, безжалостно выстреливала в небо, пронеслась над головами, оказывалась с противоположной стороны горизонта, внезапно лопалась под давлением невидимой силы и падала в море. По-утреннему голубая вода закручивалась водоворотами; в ожидании встречи с еще недавно истерически натянутой, но теперь лопнувшей дугой поверхность воды охватывало вполне понятное волнение; нервы моря внезапно оголялись, в любой момент можно было ждать наступления приступа отчаяния; огромные рыбы пронзали копьями обнаженную плоть морской синевы, пребывая в счастливом неведении о том, что им уготована роль палачей. Наконец происходило столкновение: сохраняя, несмотря на сломанную спину, мягкие очертания, дуга уходила в море, удлинённые плавные линии на короткий миг отпечатывались на поверхности, а потом невидимая рука резко утягивала их вниз, и вся цветовая гамма удивительным образом внезапно менялась – яркие серебристые отсветы пропадали, оставляя после себя лишь жгучую синеву, стремительно распространявшуюся под поверхностью моря из жалких обломков дуги, а потом резко поднимавшуюся и становившуюся днем, словно рыбаки одним рывком вытянули из воды сеть. Повсюду воцарялась дневная синева, утренний табун белых облаков устало тянулся к горизонту, за ним следовали круглые овцы, лениво пасшиеся под лучами обжигающего солнца – одинокого огненного шара, медленно распухавшего от собственного зноя.

В этот момент на острове странным образом наступало время порожденной отчаянием надежды. С благоговейным ужасом они обнаруживали, что еще живы, что смертельный холод, мучивший их ночью, снова отступил, что солнце нежно – так нежно! – ласкает их руки и ноги. Если вдруг слышалось пение птицы, они тут же робко вставали, не произнося ни слова, и растерянно заглядывали друг другу в глаза, как будто ныряя в незнакомый водоем, – но ничего не происходило. Их просто затягивало в эту зелень, и снова – ничего, кроме колышущихся в воде кораллов, расступавшихся перед ныряльщиками. На берегу горел костер, они отрывали влажные ветки и сбрасывали их со скалы в огонь, едкий дым поднимался вертикально вверх и щипал глаза. Костер давал мало тепла, жарить или варить на нем было решительно нечего, но они все равно поддерживали огонь как символ несмотря ни на что поднимающейся к небу надежды.

С тихой радостью – возможно незаметной на первый взгляд, но многим из них напоминавшей мерцание свечей в окнах детской в канун Рождества – они ходили вокруг костра, подкладывали темные листья поближе к огню, ковырялись в углях палками и смотрели, как белый столб дыма уходит вверх, растворяясь в голубой плоскости. Иногда они поглядывали в сторону моря – украдкой или в открытую, как юная англичанка, которая прикрывала рукой от солнца глаза и терпеливо ждала, наблюдая бесконечный бег флотилии облаков на горизонте. Ей еще удавалось сохранять спокойствие и не поддаваться искушениям, уготованным ей отчаянием, но ее мягкость – мягкость лица, тела, движений и мыслей – терялась с каждым часом, отваливаясь, словно глина от ракушки, и та, блестящая и твердая, как эмаль, проступала все яснее и яснее.

Пока еще не стало жарко, зной пока еще с оглушительным грохотом не обрушился на остров, заставляя всех мучительно искать малейшую тень; еще можно было закрыть глаза и походить по берегу, как несколько лет назад в одной тихой летней бухте. Вода медленно погружалась в сон, белая пена на береговой линии внезапно начинала отсвечивать красным из-за десятков тысяч раковин, которые оставались на берегу с наступлением штиля. Босоногая

англичанка медленно заходила в воду, капитан сидел на песке и тер камнем единственный оставшийся сапог, всегда в одном и том же положении. У костра, сильно наклонившись вперед, сидела мадам, завернутая в грязные лохмотья, с безумно всклокоченными волосами – правая рука упрямо прикрывала лоб, глаза и нос, а левая безвольно свисала вдоль тела, будто вывихнутая в плечевом суставе. Рядовой авиации Бой Ларю робко стоял у костра, вглядываясь в пламя и время от времени притаптывая пепел по краям, и бросал на съжившуюся женщину мрачные взгляды. Лука Эгмон, кажется, спал, лежа на спине и раскинув руки, как будто плыл во сне; боксер был с головой укрыт брезентом и выглядел еще более неподвижным, чем просто парализованный человек.

Наступало время голода, но пока не острого. Голод беззвучно нисходил на них, скользя по поверхности сознания, словно плот на озере поутру, и ласково вытеснял все остальные мысли; его обтекаемые формы освобождали некоторых от отвратительной зеленой жижи, и вождение становилось целостным и неделимым. Словно в болезненном полубытии – ибо они уже начинали слабеть, хотя голодали совсем недавно – потерпевшие кораблекрушение чувствовали, как их будто магнитом притягивает яма рядом с парализованным боксером, где в закопанном в землю ящике хранились последние остатки провианта: корабельные сухари, несколько банок сардин да зеленый, наполовину сгнивший ананас. Они были готовы на всё, лишь бы заполучить все эти яства только для себя, но прекрасно понимали, что не сделают этого. Именно в такие моменты, когда огонь жизни начинал угасать, голод казался им последней надеждой: я голоден, значит, я жив – и под лучами милосердного солнца, так нежно ласкавшего их тела, призрачной надежды оказывалось вполне достаточно.

Вода уже поднялась по щиколотку, но англичанка продолжала идти дальше; на поверхность воды всплыло несколько ракушек, окружив ее икры коралловым кольцом. Она глядела на красное кольцо, пребывая в мире грез. Все произошло в Биверсхилле. На Рождество к ним в гости приехал кузен Чарльз, которого в шутку называли Карузо из-за ломавшегося голоса. Ah ma chere, пылко произнес он по-французски, ведь ему-то уже исполнилось пятнадцать, *comme vous etes belle*¹ – и преклонил свое по-детски розовое колено прямо перед ней, а она сидела на ковре у камина, потому что в самый канун Рождества упала с санок, подвернула ногу и до сих пор с трудом ходила. Она вся задрожала, кузен помог ей подняться на ноги, паркет словно уходил из-под ног, ковер казался бесконечным и покачивающимся, и ей пришлось опираться на руку Чарльза, пока тот вел ее в детскую.

Да, все они пребывали в мире грез, все они мечтали, утешая себя счастливым исходом или же просто от отчаяния – мало ли почему люди мечтают. Грезам не предавался лишь один из них – тот, кто исчез около часа назад и все еще пробирался через джунгли. Для него, всего несколько месяцев назад впервые увидевшего так много деревьев, такую высокую траву, такие странные растения, джунглями казался любой лес: он осторожно наклонялся перед тем, как сделать шаг, чтобы стебли не били его прямо по лбу, ему ведь было немного страшновато. Попадая ногой в небольшие ямы, затянутые паутиной мха, он так сильно вздрагивал, что даже самому становилось смешно. Видели бы его товарищи с баржи, его, Великана – великана Тима Солидера.

Здесь его пугал любой нарушавший тишину незнакомый звук; ноги так устали, что, казалось, вот-вот предательски подогнутся, совершат предательство по отношению к тому, кто еще не знает, что это такое. Хотя нет, однажды произошло нечто жуткое, предвестник нынешней катастрофы, ужас уже тогда впился в него вороньими когтями. Они шли в тумане, и баржа села на мель, увязнув дном в иле, отойдя метров на пятьсот на юг от мощеной набережной в Носарии. Тишина, спокойствие, влажность и туман, возвышавшийся четырьмя стенами со всех сторон. Чайки взмывали ввысь и опускались, буксир с глухо постукивающей машиной находился

¹ Ах, моя дорогая, как вы прекрасны (*фр.*).

в половине кабельтова отсюда. Тим был один, с корабля доносились крики и ругань, и вдруг произошло нечто удивительное – событие из тех, что заставляют вас недоверчиво зажмуриться, протереть глаза и снова открыть их, но ничего не меняется. Разинув рот от удивления, он увидел, как в тумане плывут его собственные глаза, надутые, словно воздушные шары, но все-таки его собственные, просто увеличенные в невероятное количество раз: с ужасающей ясностью он увидел напряженные глазные яблоки, готовые лопнуть от огромного внутреннего давления; красные прожилки на белках напоминали следы от ударов хлыстом, и какой же жалкой показалась ему пленка, не дававшая зрачку и зеленой радужке вытечь и упасть в море! Внезапно резкий порыв ветра подхватил глаза и унес их в недра тумана, на судах, близких и далеких, тут же взревели машины, но еще никогда он не переживал столь острого чувства одиночества, как в тот раз.

Я – слепец, думал он, слепец, ибо, увидев, какое жалкое зрелище представляют собой его глаза, понял, что зрение в принципе невозможно. Его не покидали мысли о натянутой пленке, о толстых красных прожилках. Ну как можно что-то видеть такими глазами, думал он, ошупывая поручни руками, будто и вправду ослеп. И тут баржа сошла с мели, мягко заскользила по воде, трос натянулся, вода запела, туман сгустился, по штирборту прошла белая, похожая на призрак прогулочная яхта, но тотчас исчезла, словно то был мираж, крик чайки взрезал известняк тумана, оставив в нем белеющую дыру. В остальном все говорило о том, что зрение покинуло его, ведь, единожды увидев свои глаза, смотреть уже нет сил. И тогда он зажмурился от панического страха, боясь, что ослепнет так же внезапно, как останавливаются часы, когда заканчивается завод, и перестал видеть что-либо, кроме собственных беспомощных глаз.

Как же он жил с этим дальше? Несколько месяцев жалких попыток забыть, и машина снова заработала исправно, подчинившись его воле, но здесь, на острове, это произошло снова. Что же делать с машиной, которая обретает глаза и с недоверием смотрит на то, как она устроена изнутри? Его мучали сомнения, ведь теперь он видел, как глупо и бессмысленно живет его тело, как двигаются мелкие суставы, крупные мышцы, все кости. С усилием отойдя от собственных сомнений и страха, он начал украдкой наблюдать за собой со стороны: тело уже не жило, движение давалось ему с трудом. Как же он боялся того дня, когда все остановится, когда все превратится в одну огромную судорогу! Он, всегда полностью полагавшийся на силу, всегда гордившийся скоростью реакции, веривший, что поутру главное – ощутить желание потянуться, почувствовать нормальный, доставляющий удовольствие голод – удовольствие, потому что вскоре он будет утолен! – он уже видел себя лежащим у воды, руки и ноги порванными тросами раскинуты в стороны, и тихо постанывал оттого, что пламя, разгоравшееся в его животе, лизало жадным языком все уголки тела. Обессиленный, он смотрел на солнце, и оно казалось ему спелым яблоком – стоит лишь потянуться, откусить, и вот оно уже у него во рту, хрустит на зубах, сок струйками крови стекает по подбородку, мякоть с дикой скоростью заталкивается в глотку, чем безжалостней, тем лучше. Иногда ему чудилось, что на песок выползают рыбы, подмигивают ему красными глазами и, извиваясь, подбираются поближе: стоит только открыть рот, как они сами заберутся туда, а дальше – просто жевать и глотать.

С самого начала он оказался в крайне незавидном положении, отчаянном и неприятном, и при этом безвыходном. Как единственный выживший член команды, с одной стороны, он должен был принять командование на себя, поскольку нес ответственность за пассажиров даже после кораблекрушения и поэтому в какой-то степени имел право командовать ими, а с другой – оставался угнетенным, прислугой, человеком, которого можно было нетерпеливо окликнуть: эй, тащите сюда этот ящик, а ну-ка дайте ваш брезент, хочу отдохнуть, будьте любезны подать обед, мы проголодались!

Ну почему выжил именно я, часто размышлял он по ночам, мучаясь от голода и вспоминая кухню дома в Дунбари, ее зеленые стены (о эта сковородка, вечная, накрытая крышкой сковородка на конфорке, и этот вечный, поднимающийся из оставленной щелки пар, и

запах этого поднимающегося со сковородки пара, запах мясных лавок, баров, таверн, магазинов специй, ресторанов и кают, в которых ему довелось побывать, и жена, его жена, светлые волосы убраны в узел на затылке и закреплены резинкой, аромат ее волос, тот же самый аромат волос, когда она с обнаженными чистыми белыми руками колдует над плитой, не позволяет ему подойти к сковородке и кричит: «Дитя мое, дитя мое!»). Почему спасся именно я, думал он, почему, к примеру, не капитан?

Да потому, что в момент крушения капитан был мертвецки пьян. Еще за три дня до шторма его обуяли дурные предчувствия, он заперся в своей каюте с батареей бутылок виски и велел ни в коем случае его не беспокоить. В последний день перед тем, как все началось, к нему присоединился штурман, и Тим, стоявший у штурвала после внезапной перемены курса, видел, как огромная волна швырнула его о палубу, а потом до ужаса, почти неприлично медленно протащила в сторону кормы, резко изменила направление, так же медленно смыла за борт, и штурман исчез навсегда, даже не попытавшись оказать сопротивление или хотя бы попроситься с жизнью. Из машинного отделения не доносилось ни звука: они остались там навеки, такие же безмянные, как и при жизни; несколько человек запрыгнуло в шлюпку, которую почти сразу же с беспощадной скоростью и точностью перевернуло волной, – пытавшиеся спастись таким нелепым образом были обречены с самого начала.

Но Тим Солидер выжил – что это, если не чудо?! Его, как и штурмана, смыло за борт, но довольно близко к берегу; он наглотался воды, стал идти на дно под собственной свинцовой тяжестью; море уже приготовилось крестом лечь ему на грудь, но с невероятным удивлением Тим вдруг ощутил, как спину царапают острые камни. Над миром повисла серо-зеленая пелена бесконечного всемогущества, а он лежал, безвольно и неподвижно, будто из мыльного пузыря глядя на смутные очертания корабля по другую сторону пелены. Сначала он почти не слышал криков, пелена слегка подрагивала, а потом вдруг лопнула, разорвавшись в клочья, и он обнаружил, что стоит на коленях, а море, все огромное море, несется на него, словно мчащийся на всех парах поезд. О, как же он боролся за жизнь тем утром; ярость поднимала его вверх, и ничто – ни скользкие камни под ногами, ни водовороты, уносившие ввысь лишь для того, чтобы снова бросить на спину, ни беснующиеся люди, которые отчаянно дрались с ним на рифе то ли от страха, что их не спасут, то ли от страха, что их спасут, – ничто не могло противостоять его силе. Вместе с теми, кто еще сохранил остатки рассудка – рядовым авиации и крайне неприятным капитаном артиллерии, – он вынес на сушу женщин, позеленевших, дрожащих и бесконечно стонавших, словно роженицы. Через несколько дней после того, как все пришли в себя, но еще совершенно не понимали, в каком положении они оказались, были назначены герои.

– Не будем об этом, – скромно сказал капитан юной англичанке, хотя разговор о случившемся завел сам, – я знаю, что такое организация процесса, ведь я – военный. Катастрофы случаются – что ж, в таком случае вполне естественно, что я беру дело в свои руки, организую процесс, наращиваю мясо на кости, так сказать. Что это, если не наш долг? Мы с рядовым знаем о долге не понаслышке – не так ли, мой юный друг? Возьмите мой сапог и начистите до блеска, ведь сегодня, если я не ошибаюсь, двенадцатое мая. Нет-нет, не будем об этом, мы с рядовым вовсе не герои, мы просто знаем, что такое организация.

А что же Тим? Нет, о нем никто не вспомнил. Ему хотелось презрительно крикнуть: «Организация?! Какая к черту организация, это обычная паника!» – но что-то его останавливало. Как только кто-то из спасенных обращался к нему, его словно обдавало холодным потоком, а обращались к нему только в тех случаях, когда надо было что-то сделать, что-то грязное, тяжелое, тошнотворное, рискованное. Вы ведь такой великан и силач, вы ведь совсем не пострадали, вы здоровее всех нас, говорили они жесткими, отполированными голосами. Они никогда ни о чем не просили, только приказывали, ни грамма тепла, только подчинение, и все равно поначалу Тим гордился, что они обращаются к его физической силе. Он разгадал

их уловки лишь тогда, когда голод взял его за горло так сильно, что он понял – этот голод не утолить никогда, когда тело перестало слушаться и начало сопротивляться, когда одна мысль о том, чтобы пошевелиться, стала вызывать у него отвращение, потому что перед глазами все время стояли движение уже мертвых костей внутри плоти, жутко обнаженный под кожей и жилами череп, сжатое и открытое сердце, выстукивающее неловкий, рваный ритм.

Все, что казалось простым, вдруг стало сложным; он строил баррикады из мыслей в надежде, что однажды выйдет на них сражаться; по ночам лежал в кажущейся неподвижности, но на самом деле в ужасе бежал по берегу, лез на скалы, неся по джунглям, слезал с крутого обрыва, где едва было за что зацепиться руками и ногами.

Кто же я, думал он, кто я? Зачем мне все это? Почему я должен жертвовать собой ради людей, ни один из которых не готов пожертвовать собой ради меня? Разве не все мы – жертвы кораблекрушения? На корабле я был членом команды, это правда, но что с того? Наша жизнь изменилась, прошлое осталось в прошлом! Теперь все мы одинаково нагие, наши пальцы тянутся к жалким крохам с одинаковой жадностью, наши ногти одинаково остры, когда мы толпимся у бочки с водой! Разве есть что-то, кроме скелета, кожи и внутренностей, которые у всех одинаковы? На корабле один из нас еще мог прокричать другому: «Слушай, раб, я голоден!» – но разве не истек срок действия этого права, если его вообще можно назвать правом, ведь теперь все мы в одном положении, все мы лишены денег, статуса в обществе и происхождения – все смыто за борт! Разве мы не родились заново из этих жестоких волн – или же воспоминания о прошлом на веки вечные будут определять нашу жизнь? Почему нельзя сделать так, чтобы тот, кто обладает наибольшей силой, кто делает больше остальных для того, чтобы мы еще какое-то время оставались в живых, получил наибольшие полномочия, ведь слава полагается ему, всеобщее уважение полагается ему, теплое отношение полагается именно ему, и никому другому! А если нет? Ведь тогда можно и прекратить поставки провианта, просто улечься на спину и послушать мерное гудение прибора, а иногда, проголодавшись, вставать и уходить в одиночку на охоту, ибо вовсе не обязательно, да и просто невозможно взять на себя ответственность за тех, кто с презрением относится и к твоим услугам, и к тебе самому.

Но наступало утро, все просыпались, совершали уже вошедший в привычку обход белой скалы, возвращались, и Тим снова ощущал жуткую, непреодолимую тягу подчиниться. Никто не говорил ему ни слова, никто не подзывал его, но он в одночасье становился беспомощным и бессловесным, бился как рыба об лед, извивался как змея – бесполезно, ничего не помогало. Он добровольно следил за костром, пока остальные праздно лежали и смотрели на прохладное голубоватое пламя или подкидывали туда ветку-другую, если у них на то было настроение, но поддерживать огонь должен был именно он; именно он ломал колючие ветки с кустов, хотя боялся скрывававшейся в них неизвестности, именно он постоянно следил за высотой столба дыма и силой огня, и именно его растерзали бы в первую очередь, обвинили, осудили и изгнали, если бы огонь потух.

Что же не давало ему выйти на свободу? Может быть, другие обладали неким качеством, дававшим им превосходство? Он наблюдал за каждым из них по очереди, примеривался к каждому слову, вглядывался в каждое движение, анализировал каждое действие и в конце концов пришел к выводу, что даже самый слабый, самый уязвимый и самый чувствительный из этих людей проявлял неприкрытую жестокость, которую, правда, никто, кроме Тима, не замечал, потому что она была направлена именно на него. Англичанка зашла в воду – так она поступала изо дня в день – красивые очертания загорелых икр, на мгновение сползающие с правого плеча лохмотья обнажали мрачно сиявшую белую кожу, привлекающую и одновременно отталкивающую от себя взгляды, гордый изгиб шеи – такую не заставишь склониться, как ни старайся. В ней не было ни грамма покорности, при взгляде на нее возникало необъяснимое, но осязаемое ощущение, что ей принадлежит весь мир, хотя она и пальцем не пошевелила, чтобы покорить

его. Женщины, которых он знал до того, как его приговорили к смерти на этом проклятом острове, были другими: они не осмеливались владеть даже тем, что заработали своим потом и кровью. Их одолевали вопросы, бесконечные вопросы: а здесь можно сидеть на траве, а вдруг кто-то придет; а по этой дороге можно идти, а вдруг это частная собственность; а тебя можно любить, а вдруг ты принадлежишь кому-то другому? И он, никогда не принадлежавший самому себе, был точно таким же, как и все знакомые ему женщины.

Он знал только одно: у меня нет ничего своего, даже мое тело мне не принадлежит; движения, которые совершаю у умывальника, приходя домой из кузницы, я взял взаймы; мысли, жужжащие в моей голове, – лишь гости, решившие остаться на ночь, бездомные любовники, приехавшие за любовью в номера; грохот крана на барже будет раздаваться вечно, секунды приятного душевного волнения украдены нанявшей меня судоходной компанией.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.